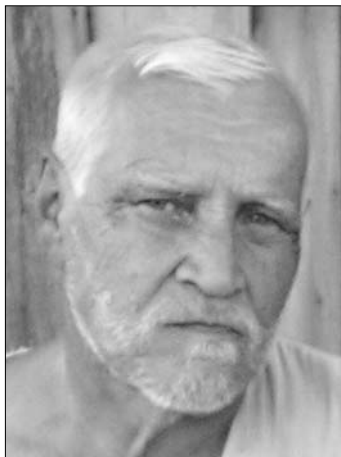


НИКОЛАЙ СМИРНОВ



ВАРАКШОНОК

РАССКАЗЫ

ВАРАКША

Если вы захотите из любопытства заглянуть на мою родину, убедительно прошу вас этого не делать. Дорог к нам никаких нет. Люди, как и тысячи лет назад, ездят и ходят просто по земле, по лесам и болотам. В райцентре Шабалино любой шофер охотно согласится подкинуть вас и до Котельнича, и до самой Вятки, и даже до Костромы, но если вы заикнётесь о Варакше, он только смачно сплюнет да пятиэтажно выругается. Правда, иногда, в случае крайней нужды, в район посылают леснического шофера Ваську Доставалова на допотопном, давно списанном “газоне”. Но бывает это крайне редко. Да и Васька для храбрости вусмерть напивается и пока держится за баранку — едет. Но если машина заглохла и надо вылезать с кривой заводной ручкой, то тут же и падает, как убитый.

— Васька, чёрт! — кричу ему однажды. — Как же ты едешь эдакой пьянёхонький?

А он хохочет:

СМИРНОВ Николай Александрович родился в 1941 году в починке Петропавловский Шабалинского района Кировской области. Ветврач, зооинженер. Работал по специальности на Севере, на Урале, в Подмоскovie. Автор сборников прозы “Ветлугаев бор”, “Живица”, романа “Сталиногорцы”. Печатался в журналах “Наш современник”, “Север”, “Молодая гвардия”. Лауреат Тульской областной литературной премии им. Я. Смякина, премии им. Н. Лескова “Левша” за 2009 год. Член Союза писателей России.

* Журнальный вариант.

— Да ты глянь, Колька, глянь! Разве можно по эдаким бучилам тверёзому ездить! А зальёшь шары-то, дак такая отвага появляется, что прёшь по любой грязюке, как по американскому автобану...

Варакша наша расположена большим треугольником на стыке трёх областей, что, безусловно, было удобно разбойникам, от которых и пошёл наш буйный народ. Некоторые историки, конечно, в этом сомневаются, но лично я охотно верю. У нас даже в бабах до сих пор бушует эта разбойничья кровь. В других местах они всегда стараются разнять драку, а у нас наоборот: сами становятся плечом к плечу с мужиками и бьются до потери сознания хоть с ветлугаями, хоть с вятчентами, хоть с костромичами.

Но вы не думайте, что разбоями грешили лишь мои земляки. В смутные времена (да простят меня патриоты!) на Руси на разбой ходили как на отхожий промысел. Ограбленные, к примеру, вятчи, скототив ватагу, шли на костромичей, костромичи — на вологжан или ещё куда-нибудь.

Не отставали от наших и просвещённые европейцы. Как свидетельствует летопись, новгородцы однажды собрались пограбить шведов, но по дороге встретили эстонцев, которые шведов уже ограбили и возвращались домой с добычей.

— А вы отдайте нам половину! — потребовали новгородцы.

— Шиш вам! — отвечали эстонцы. — Сами спворьте.

— Ах вы, чудь белоглазая! — возмутились новгородцы и отбили у эстонцев всё награбленное, вплоть до литых позолоченных ворот от какого-то католического храма. Потом оказалось, что эти ворота шведы грабанули у готов, а те, в свою очередь, то ли у итальянцев, то ли у крестоносцев. По-христиански это или не по-христиански, я не знаю, но ворота эти до сих пор украшают Софийский собор в Новгороде...

До революции на Варакше насчитывалось полсотни лесных деревушек, починков и хуторов со столицей Атаманово: Колодешники, Трясуны, Мякинники, Сыроеды, Лапотники, Сутяжники, Чащобники, Гончары, Гужееды — эти названия говорят сами за себя. Другие же населённые пункты требуют некоторых пояснений.

Челобитники — эти всю жизнь молятся. Корова отелилась — молятся, картошку градом побило — молятся, дом загорелся — всё равно молятся вместо того, чтобы тушить.

Шампильонщики. Эти когда-то ходили на сплав до Нижнего Новгорода. Там после расчёта забрели в ресторан и, поскольку грибы в наших местах ничего не стоят, в целях экономии на закуски и потребовали грибов. И шампильоны им так понравились, что они съели все, что были в ресторане, а потом, когда им предъявили счёт, у них и заработанных денег не хватило, чтобы расплатиться.

Собашники. Испокон веку разводят и продают собак. Даже картошку не сажают, не говоря уже о том, чтобы какую-нибудь полезную скотину держать. По праздникам связывают этих собак за хвосты и наблюдают, чей конец деревни перетянет. На эти соревнования сбегалась вся Варакша. Кончались они так же, как и теперешний футбол, — дракой.

Простодырники — эти, говорят, верили всему что услышат, как нынешний электорат. Если им говорили, что африканские негры напали на Россию, они тут же являлись в Атаманово во всеоружии: с сулебами, пищалями, кистенями и ружьями. Если им говорили, что в их починок на днях приедет митрополит, тут же принимались белить печи, выметать мусор из часовни и застилать улицу половиками.

Балабольщики, Хохмачи и Баламуты. Ну, эти, если бы сохранились, вполне могли заменить всех наших пошлых до рвоты юмористов.

Трясуны — в отличие от простодырников, решительно ни с кем не хотели воевать и перед мобилизацией всегда прокалывали уши спицами, отчего многих и трясло...

Лыковка, Мочаловка и Берестянка. Жители этих деревень достигли в своём деле такого совершенства, что их мочальные шляпки, пояски, берестяные сумочки и лапти долетали аж до Парижской выставки. Всё испортил

дедушка Савелко. Он сплёл лыковый костюм-тройку и отправил в Москву всесоюзному старосте Калинину с тем, чтобы тот “сбавил маненько налога”. Известно, дошёл ли тот костюм до адресата, но жителей Лыковки, Мочаловки и Берестянки обложили таким налогом, что они, побросав кодочиги, разбежались по великим стройкам коммунизма...

И, наконец, — Голожопники. Здесь жители снимали штаны, по пояс заходили в болото и ждали, когда присосутся пиявки. Потом вылезали на сухое место, отдирали пиявок, складывали в стеклянные банки и увозили на Ветлугу или в Кострому, чтобы сдать в аптеки.

Но несмотря на такое множество селений, у нас на Варакише все родня. В какой-нибудь вятской или костромской деревне на тебя и внимания не обратят. Но как только ты пересёк границу и ступил в варакишинский хутор или починок, встречающая востроглазая бабка тут же взглянет в твоё лицо, словно художник в картину большого мастера, и, всплеснув руками, воскликнет:

— Ба-атюшки! Да ведь это Бадеренков внук! Погли-ко, глазом-то так и стригает, так и стригает, будто цыган али мазурик какой... Ну, дак заходи, заходи, покормлю, чего Бох послал...

Или:

— Матушки мои! Никак Хохрячёнок к матке в Атаманово правится. Глянь-ко, Параня, вся статья Митрея Захарова, и походка дедова. Жива ли Хохрячиха-то? Ежели жива, дак передай-ко ей медвежьей желчи. Уж больно она её просила, когда я в Атаманово-то ходила...

И ни одну нашу бабку не смутит ни модный костюм, ни причёска, ни даже то, что родился ты даже где-нибудь и не на Варакише.

Были у нас и такие селения, где народ говорил на таком древнем, закомуристом языке, в котором посторонний человек и половины слов не поймёт. Бывало, спросишь мёду у какой-нибудь бабки:

— А кма ли тебе надо мёду-то? — спрашивает она.

— Ну, давай хоть полкмы. — в шутку отвечаешь ты ей.

Бабка удивлённо таращит глаза.

— А сколько это — полкмы-то?

— А кма сколько?

Наконец, бабка соображает, что перед ней не кто иной, как настоящий варакишенок, и просто разыгрывает её, и возмущается:

— Ещё и изгаляется над старухой. Иди, лешов дьявол, и за деньги не дам!

Если посмотреть на карту, то у нас можно обнаружить всего два-три крупных селения. Остальные не числились нигде. Землеустроители неоднократно пытались нанести их на “планты”, но безуспешно. Одна такая экспедиция заблудилась, и её до сих пор не нашли; вторую лесник Онуфрий завёл, как Иван Сусанин, в гиблые Обабошные болота. А третья опять же заблудилась и, донельзя отоцавшие, обросшие диким волосом, участники её вышли куда-то к Ветлуге...

После революции отдельные активисты начали было крушить хутора, но их вскоре перестреляли. Постреляли и несколько присланных из района председателей колхозов, после чего охотников связываться с варакишонками уже не нашлось. С тех пор Варакишу окрестили семнадцатой республикой, и ни Кировская область, ни Горьковская, ни Костромская не желали её видеть в своём составе и постоянно переписывали из одной в другую. Так что многие наши люди до сих пор толком и не знают, в какой области родились. И я в том числе...

Правда, в самой столице Варакиши — селе Атаманове — после войны сколотить колхоз всё же удалось, но вскоре районное начальство убедилось, что нашим людям по менталитету ближе всё-таки зверьё. Создали звероферму. Скармлили зверью весь колхозный скот, после чего зверьё частично разворовали, а частично выпустили на волю. Сами же помещения фермы, вольеры и контору, как у нас и принято испокон веков, сожгли. Заодно сожгли и сельсовет и опять стали налегать больше на лесозаготовки, живицу, охоту, грибы и ягоды, чем на пустую подзолистую землю.

А к руководству Варакишей опять приступил батюшка Абросим, — возможно, самый либеральный поп в мире. Он вместе с мужиками валил лес и,

чтобы не надрывать лошадь по пенькам и кочкам, на плече выносил к дороге шестиметровые брёвна, словно жерди. На сплаве один снимал плоты с мелей и перекатов, а в Нижнем Новгороде в цирке, раздевшись до кальсон, валил одного за другим профессиональных борцов. Пил он тоже вместе с мужиками. Мог обвенчать парня с девкой, но если та окажется не девкой, то тут же и развенчать по первому требованию жениха и повенчать с другой. А по праздникам, если наших мужиков начинали одолевать ветлугаи или вятченёнки, смело становился впереди и с криками “Сарынь на кичку!” бросался на врага и так молотил своими пудовыми кулачищами *во имя Отца и Сына, и Святого Духа*, что враги так и рассыпались горохом.

ВЫПОЛЗОВ ПОЧИНОК

Мой родной починок назывался Выползов, потому что со всех сторон он окружён такими топиями, что в них постоянно тонул скот, сдёргивали со шкворней телеги и тарантасы, да и теперь, наверно, “новые русские”, приезжающие на охоту на своих внедорожниках, подолгу щупают в грязи полу-сгнившие брёвна старых мостов и лежнёвок. Завидовала нам вся Варакша: к выползятям не только уполномоченный, а сам леший не проберётся.

Но мы, конечно, знали, где и как безопасней из починка выползти, а потом заползти обратно. Родился я не в самом починке, как это записано в метрике, а километрах в трёх от него под ёлкой в лесу, куда мать моя с бабушкой ходили за рыжиками. И жизнь моя сразу началась с несчастья. Для того чтобы донести меня до дому, бабушке пришлось высыпать на землю целое лукошко рыжиков, о чём она сокрушалась потом до самой смерти. Я же молчал всю дорогу и все решили, что я, слава Богу, не жилец на этом свете. Не тут-то было! Дома на печи я заорал так, что всполошил весь починок. Прибежала ворожея бабка Дарья, взяла меня на руки и всю мою родню разочаровала:

— Живучой, дьявол! Погли-ко, у его и глаз, как у таракана, светится.

С тех пор меня так в починке и прозвали: “тараканий глаз”, хотя сколько я потом этих тараканов ни рассматривал, никаких глаз у них не обнаружил.

Правда, после денежной реформы 1947 года прозвище мне поменяли. Когда папка мой вернулся с лесозаготовок, во всех магазинах и лавках Варакши уже всё расхватили вплоть до изъеденных молью кроличьих шапок, ржавых подойников и полусгнивших овчин. Оставалась лишь одна пудра, и чтобы старые деньги не пропали, папка привёз домой целую телегу этой пудры, которой хватило на всю Варакшу вплоть до денежной реформы 1961 года. Ею пудрились все от мала до велика. Даже опрешные в лаптях ноги присыпали, а также и капусту, если на ней появлялась тля. А моя мамка изобрела первый в мире “хагис”. Она высыпала в штанишки моему младшему брату Сережке пять-шесть коробок этой пудры. И сколько бы он потом ни наложил в эти штанишки, от него всегда пахло лавандой.

Папку же с тех пор стали звать Сашкой Пудренным, а меня, само собой, Колькой Пудрёнком.

Как с неприятностей всё началось, так и пошло через пень-колоду. Повезла меня мать на салазках в соседний починок, чтобы сфотографировать и отправить фотографию на фронт отцу, но я вывалился по дороге в сугроб. Мать этого не заметила, поскольку везла ещё полмешка картошки, чтобы заплатить фотографу за работу. Меня подобрал какой-то старик на лошади и, решив, что дитё выкинули специально, стал возить по чужому починку с тем, чтобы меня кто-нибудь усыновил. Но кому я был нужен! Бедная моя мать, обнаружив пропажу, сбегала туда и обратно и бесчувственная валялась в том доме, где меня должны были фотографировать. Наконец, объехав весь починок, старик решил всучить меня фотографу, справедливо решив, что тот попутно увезёт меня в район, а уж там и решат, что со мной делать дальше...

Тут-то я, наконец, и обнаружился. И орал потом три дня, требуя птичку, которая должна была вылететь из фотоаппарата. Орал бы, может быть,

и дольше, если бы бабушка не подобрала на дороге замёрзшего воробья и не заткнула мне им рот.

— На, супостат, подавись ты своей птичкой!

Потом я с такой же наглостью ходил за ней, вцепившись в юбку.

— Баба, да-ай леденчик! Баба, да-ай леденчик!

Наконец, она с грохотом открывала кованный медью сундук, долго рылась в одежах и совала мне в рот леденец.

— На, аделище ненасытное, подавись! Последний отдаю! От лешего да от нечистой силы можно хоть молитвой отойти, а от тебя ничем не отойдёшь...

Но я точно знал, что леденец у бабки не последний, и через пять минут опять тянул, вцепившись в её юбку и не отставая ни на шаг:

— Ба-а, ну, дай ещё... Ба-а, ну, да-ай же...

Потом я стал слепнуть и, возможно, ослеп бы совсем, если бы не мой закадычный дружок Санька Забродин. Я обнаружил у бабушки в подвале горшок со сметаной и стал поедать её потихоньку, приспособив вместо ложки щепку. И вот однажды бабушка за ужином возьми да и скажи как бы невзначай: кто много ест сметаны, тот может ослепнуть. У меня вскоре защипало глаза, как будто я съел несколько луковиц. Потом потекли слёзы, и всё вокруг стало расплываться. Всю ночь я не спал, а утром побежал к Саньке узнать: если ослепну насовсем, на оба глаза, то будет ли он водить меня за палку, как Митю Слепого с Баранова хутора водит его жена Пелагея.

— Ду-ррак! — твёрдо заявил Санька. — Врёт твоя бабушка. Это с голодухи можно ослепнуть, да и то частично, а от сметаны — никогда!

И УБИЛ ЗАПЯТУЮ...

Нет, не бывать бы мне в том году школьником. Во-первых, мне и шести ещё не исполнилось, а во-вторых, война: ни скинуть, ни надеть нечего. Всей одежи и было на мне, что бабушкина кофта в горошек.

Ну, а уж если всю правду сказать, то не больно мне и хотелось в нашу починовскую школу. Что это за школа — смех, да и только! Всего-то одна комнатка в прирубке у деда Еврасима. И пол некрашенный, и окон всего три, хоть среди бела дня лучину зажигай, и тараканы на тебя из всех щелей смотрят, а в сенях — какие-то драные хомуты, седёлки валяются да разошедшаяся кадушки. И все четыре класса в одном.

А учительница Фаинка, внучка деда Еврасима, сама всего семь классов кончила и ходит-то в заплатанных чёсанках да в каком-то перелицованном пиджачишке с деревянными пуговицами. И всё-то зябнет, всё-то зябнет...

Вот в Атаманове — школа так школа! Все классы порознь, да плакатами, портретами, картами всё увешано — прямо в глазах рябит. Даже глобус у них есть и библиотека!

Через неё-то, через библиотеку, я и попал в нашу починовскую школу, а если точнее, то через старшую сестру Томку. Принесла она оттуда книжку про Гулливера. Само собой, спрятала от меня. А чего прятать-то? Благодаря ей же, Томке, я и читать уже умел, и считать до сотни, и все стихотворения, которые она учила, знал назубок.

Так вот, книжку эту я, конечно, отыскал в её куклах, прочитал в бане у оконца, и запало мне с тех пор в душу, что эти самые лилипуты в нашем патефоне живут. Иначе кто же, думаю, в нём петь-плясать будет? А ночью, наверное, выползают наружу подкормиться, потому что, сколько бы я ни крошил около патефона хлебных крошек — к утру ничего не оставалось...

Конечно, я давно бы познакомился с этими лилипутами, если б не Томка. Она не только не подпускала меня к патефону, а и вообще всегда за руку меня с собой таскала.

Но вот и на мою улицу праздник пришёл — первого сентября. Мать, как всегда, на работу, а Томка — в школу. Я до винтика разобрал патефон, но лилипутов почему-то не обнаружил. Может, думаю, они в часы перебрались на жительство? И часы разобрал — нет лилипутов. Видно, в другой дом перешли, размышляю про себя, наверное, кормил плохо. А где для них че-

го взять-то! Сами, считай, одну картошку едим, да грибы, да свеклу ещё сушёную вместо сахара...

Ну, и отправили меня после хорошей взбучки на другой же день в школу. Точнее, не в школу, а как бы в детский садик, где я должен был сидеть в четвёртом ряду вместе с Томкой, не болтать ногами, не разговаривать и молча писать в самодельной тетрадке огрызком карандаша всякие палочки и закорючки.

Тут-то вот я вскоре и отличился на зависть всему нашему починку. Было дело, привезли на лошади нарядную тётку из роно. Она посидела в нашей школе, походила по рядам, да и спрашивает: кто, мол, какие стихотворения знает про войну. Я так и вскочил от радости:

— Я знаю!

Томка мне тут же подзатыльник, да уж поздно. Тётка из роно пошептала о чём-то с Фаинкой, усмехнулась и говорит:

— Ладно, иди к доске.

— А может, тута? — не растерялся я, потому что выходить к доске мне не было никакого резона. Уж если рубаха на мне, перешитая из бабушкиной кофты в горошек, была ещё куда ни шло — всего с двумя заплатами, то штаны вообще состояли из одних заплат и держались даже не на лямке, а на обрывке череседельника. Про обувь и говорить нечего: ночью мать сшила мне из старых кирзовых голенищ какие-то чупяки, так они ещё по дороге в школу разъехались. Из одного пятка торчала, словно луковица, а из другого — большой палец с кривым ногтем.

— Ну, давай с места, — опять усмехнулась тётка. — Про что рассказывать-то будешь?

— Да хоть про что, — говорю, — хоть и про пограничника, хоть про “первый сокол — Ленин, второй сокол — Сталин...”, хоть про танкистов...

— Ну, расскажи тогда про пограничника.

— Пожалуйста.

И, опасаясь, чтобы меня не остановили, я зачастил, будто из пулемёта. А как дошёл до места, где пограничник убил троих шпионов, но подкрался четвёртый и нанёс ему смертельную рану, тётка из роно замахала руками:

— Голубчик, голубчик, потише!

А тут ещё на беду Фаинка впуталась:

— Коля, Коля! Здесь же запятая перед “но”.

“Вот чёрт, что ещё за запятая? — растерялся я. — Томка, когда заучивала это стихотворение, ни о какой запятой там речи не вела. Запятая... запятая, — бился пульс в моих висках. — Что же это? Да ведь это шпионка, радистка! — осенило меня. — Ну, конечно! Какой толк фашистам через нашу границу ходить, ежели они Гитлеру никаких сведений передать не смогут. А Томка — дур-ра! Главную строчку пропустила. Ну, и молодец же я — вовремя догадался!” С чувством и расстановкой я повторил куплет:

— Троих он убил и убил Запятую, смертельную рану нанёс...

— Подожди-ка! — округлила глаза тётка. — Как это “он убил запятую”?

— Очень просто, — пояснил я, — из автомата и убил.

— Коля, а запятая — это что, по-твоему? — опять вмешалась Фаинка.

— Как что? Шпионка немецкая, радистка...

Тут все и грохнули. А Томку вообще скрутило от смеха так, что она даже одёрнуть меня не могла, вроде как только трогала за штанину. Однако меня не так-то просто было сбить с толку. Выждав, пока все утихло, я продолжал пояснять:

— Тут дальше в стихотворении всё неправильно.

— Да почему? — утирая слёзы, спросила тётка.

— Да потому! — удивился я ее бестолковости. — Ведь троих он убил?

— Ну, убил.

— Радистку Запятую убил?

Тут опять все загоготали, даже первыши, а в стенку Еврасим чем-то стучать начал. И тогда мне ничего не оставалось, как выложить на парту нарезанные из малиновых прутьев палочки.

— Натё вам, сами считайте, — я отложил три палочки. — Троих он убил? Убил. Радистку Запятую убил? Убил. Значит, всего четыре.

— Ну, хорошо, Коля, пусть так, — согласилась, наконец, тётка. — А дальше-то что?

— А дальше то и получается, что уже не четвёртый к пограничнику-то подкрался, а пятый, — в упор уставился я на неё, — а кто это стихотворение писал, тот, наверно, считать совсем не умел. Вот что получается.

Тут уже от хохота вообще все окна в избе задребезжали, а со стены упал единственный портрет Мичурина.

Да только ведь не теперь сказано: хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Тётка из роно оставила меня после уроков, объяснила, что такое запятая, потом попросила почитать книжку, посчитать на палочках и самостоятельно зачислила меня во второй класс. Мало того, выдала мне две настоящие тетрадки: в линейку и в клеточку, “Родную речь”, “Арифметику”, ручку с запасным пёрышком “лягушка” и целый пузырёк настоящих чернил.

А наши-то, починовские, как писали самодельными чернилами из печной сажи на газетных обрывках, так с тем и остались. И это была моя первая и последняя удача в жизни.

ПРЕДСКАЗАНИЕ

Начальную школу я закончил с похвальной грамотой. Бабушка подержала её перед глазами вниз головой и прилепила на хлебный мякиш в простенок на видное место. Всем в починке она начала хвастаться, что с таким образованием я не буду катать бревна, как все наши, а стану маркировщиком, а может быть, даже и в десятники выбьюсь.

Конечно, так бы благополучно и сложилась далее моя судьба, как предсказала бабушка, если бы на мою погибель не вернулись с фронта мой отец и мамкин двоюродный брат дядя Саша-медвежатник. Он ещё до войны ухлопал сорок медведей, а в войну — двести сорок немцев. После первой четверти самогона они долго по очереди шупали мою огромную от рахита голову и пришли к выводу, что с такой головой мне в починке делать нечего, а надо учиться дальше. После чего дядя Саша дал мне примерить свой китель с Золотой Звездой, и бабушка моя едва не померла от умиления.

Потом вспоминали, как шли по Европе и как в каком-то городе Белграда для них все улицы устелили коврами, из которых, наверно, до сих пор бедные жители вытрясают вшей. Долго над этим смеялись, а потом взялись за вторую четверть. И когда её ополовинили, начали немцам завидовать. Якобы у них даже в деревнях все живут в двухэтажных каменных домах, все ходят в суконных пинжаках с галстуками и в лаковых шиблетах. Пьют вино прямо из бочек, а едят — из серебряных тарелок серебряными ложками. И папка мой под конец до того разъярился от этой зависти, что все наши деревянные ложки переломал через колено, глиняную посуду расхристал о пол, а лапти сжёг в печке.

Потом, когда они допили вторую четверть, запрягли лошадь и поехали в район. Папка мой уже молчал, только скрипел зубами, а дядя Саша орал: пускай они, тыловые крысы, проведут нам в починок к Покрову электричество, асфальтированную дорогу, откроют школу-десятилетку и лесотехникум, а лично мне перекроют крышу!

В районе они дебоширили три дня. В исполкоме избил председателя, в чайной повыбивали все окна, а под конец дядя Саша из своего именного пистолета пострелял все чашечки на телефонных столбах, и их обоих забрали в отрезвиловку. Папку моего на другой день отпустили, а дядя Саша из отрезвиловки выходить наотрез отказался и потребовал, чтобы его выводили оттуда со знаменами и под барабанный бой, поскольку лично товарищ Сталин категорически запретил забирать Героев Советского Союза. Перетрусившие милиционеры собрали со всего райцентра флаги и знамена и под барабанный бой пионеров дядя Саша торжественным церемониальным шагом покинул отрезвиловку. За это нашу Варакшу в районе возненавидели окончательно и в очередной раз пытались всучить Ветлуге. Правда, крышу ему всё-таки перекрыли, но электричества и асфальтированной дороги в наш починок так

и не провели, не говоря уже о десятилетке и лесотехникуме. Поэтому-то и пришлось мне ходить за десять километров в Атамановскую семилетку. И как начался я в тамошней библиотеке всяких книжек, так и сделался совершенно ненормальным, вроде Коли Дедя, который за конфетку-подушечку такого наплетёт за пять минут, что и за день не перескажешь. Начал я врать, и настолько безбожно, что бабушка едва с ума не сошла. Не с этого ли начинают все писатели, политики и президенты?..

Вот прихожу из школы и докладываю ей:

— А в Атаманове мужики неводом водяного вытащили, но отпустили, потому что тот пообещал нашу реку Какшу соединить с Волго-Доном.

Или:

— А в Чащобниках поймали лешего с лешачихой и лешачёнком. Лешего с лешачихой в Вятку в зоопарк отравили, а лешачёнка нам отдали в жилой уголок. Он так и уливается слезами...

Или:

— Вчера к Атамановскому мосту пираты на корабле причалили. Все магазины ограбили, а учителей наших перетопили, так что в школу недели две не надо ходить, пока новых не пришлют...

Бедная моя бабушка чего только не делала: и святой водой крошила, и четверговой соли на ночь привязывала, и к батюшке Абросиму водила — всё бесполезно. Вру и вру, хоть ты рот зашивай. Потасили меня к ворожее бабке Дарье. Та разложила на столе сотню бобов, чего-то покумекала над ними и сообщила, что ничего путного в жизни меня не ожидает.

Бабушка добавила ей ещё десяток яичек, а бабка Дарья, в свою очередь, добавила на стол бобов, но получилось ещё хуже: на моём жизненном пути встал какой-то шкилет, после которого житуха моя, и без того беспросветная, станет ещё хуже. А жизнь на Варакше вообще прекратится.

— Ну, а как насчёт вранья-то, Марковна? — поинтересовалась вконец убитая горем бабушка.

— А то и скажу, Капитоновна: пуцай врёт, ежели без корысти. От этого вреда никакого и никому не будет...

— А ежели с корыстью?

— Ну, тогда хлестать его придётся, как сидорову козу. Только полотенцем не бейте, а то вредный сделается, и веником тоже нельзя — тёща любить не будет...

Поначалу, однако, я всяких скелетов стал побаиваться, и когда в Барановом волоку волки задрали мерина дяди Кузьмы, то скелет его, на всякий случай, обходил стороной. А также близко не подходил и к особо тощим мужикам, которых у нас на Варакше тоже звали шкилетами. Но поскольку ничего плохого со мной не происходило, то вскоре всё и забыл...

АРТИСТ

В общем, врал я врал, а потом всю эту вранину стал посылать в районную газету “Красный льновод”. Но оттуда вскоре пришло письмо с просьбой, чтобы я писал не “фантастику”, а сообщал бы о значительных событиях, которые происходят у нас, и о трудовых достижениях коллектива. Господи Ты, Боже мой! Ну, какие же такие значительные события в нашем починке? Ну, бабы у колодца разругаются из-за утопленной бады, ну, заблудится кто-то в лесу, ну, волка или медведя кто-нибудь убьёт. Или дед Протас уснёт на своём смолокуренном заводшичке, а котел-то переполнится и его самого зальёт смолой, а на другой день всем починком выдирают его из этой смолы. Так это что: трудовое достижение?

Вскоре, однако, всё же напечатали крохотную заметку о том, что дед Флегонт больше всех в починке ивового корья надрал. Вот с этого всё и началось. Пришёл ко мне Сеня Жуйков из деревни Плясуны и поманил пальцем на улицу.

— Прихвати-ка бумаги да карандаш или ручку... — шепнул Сеня мне загадочно на крыльце.

— Зачем это? — спросил я его. — Письмо, что ли, написать или заявление какое?

— Это я и сам могу, — постукал Сеня согнутым пальцем по своей круглой, точно камень-голыш, голове, — насчёт этого у меня котелок варит...

Я взял, чего требовалось, и вышел на улицу.

— Айда в баню! — не то попросил, не то приказал Сеня.

В бане он по-хозяйски осмотрелся, отодвинул в угол шайку с водой, причесался перед обломком зеркала, поправил ремень и обратился ко мне:

— Вот ты, значит, про старика тут в газете пишешь, а разве он заслужил это?

— Ну, как же, — обиделся я, — он же корья всех больше в этом году надрал, дедушка Флегонт-то, ему за это даже полушубок в сельпо обещают новый.

— Эх, ты! — сожалеюще покачал головой Сеня. — Ну, что такое корьё? Мелочь, ерунда, в руки, можно сказать, взять нечего...

— Но ведь напечатали же!

— Напечатали, хе-хе... — усмехнулся Сеня. — Да потому и напечатали, что не знали, что он тебе родня. Вот погоди: дохнёт кто в газетку-то, знаешь, что тебе за это будет?

— И ничего не будет, он же не украл корьё-то, а сам надрал в старой пожне, высушил и отправил на станцию. Он бы и ещё больше надрал, да его тётка Канида заставила крышу на сеновале перекрыть.

— Сеновал, крыша, корьё какое-то... Да разве есть во всём этом настоящего-то геройства хоть на полушку? На фронте-то он был, твой Флегонт?

— Нет, не был, ему же в прошлом году семьдесят лет исполнилось...

— Вот то-то и оно, — обрадовался Сеня, — а тут, понимаешь, люди во-евали, танки, как говорится, зубами грызли, кровь лили. — Сеня поднялся и в волнении заходил по бане.

Я растерялся. Заметив это, он подсел ко мне и приказал:

— Ну, что сидишь? Записывай!

Кое-как примостившись на подоконнике, я открыл тетрадку. Сеня долго ходил из угла в угол, как бы глубоко задумавшись. Наконец, он остановился и просветлел лицом.

— Значит, так: в одна тысяча девятьсот сорок втором году армию нашу окружили в болоте. Сидим день, два, неделю сидим, месяц... А фрицы по нам из пушек и пулеметов, из танков и миномётов и днём, и ночью, и до обеда, и после обеда садят и садят. Потом вдруг: ша! Тихо... Ну, вызывает меня, значит, командующий и спрашивает:

— Соображаешь, товарищ Жуйков, отчего немцы стрелять перестали?

— Никак нет, — говорю, — не соображаю.

— Голова ты, — говорит, — садовая: боеприпасы они берегут. Узнали, что вечером мы на прорыв пойдём, и экономят. А надо бы повытрясти у них припасы-то, с голыми руками к вечеру-то оставить. Мы, говорит, только что с вашим сельсоветом по радию связывались. Нам сказали, что ты плянешь добро.

— Само собой, — отвечаю, — все призы на праздниках мои были...

— Вот-вот, — говорит, — такого нам и надо.

Сеня заглянул мне через плечо и спросил:

— Успеваешь?

— Успеваю, — ответил я не очень уверенно.

— Тогда пиши дальше. Приводит он меня на высоту одна тысяча двести сорок один. Ну, на высоте, сапёры, само собой, уже настил сделали и лавочку для гармониста поставили. Командующий наливает мне из своей фляжки чистого спирту два стакана и говорит:

— Ну, Семён Александрович, не подведи: вся надежда на тебя...

— Я-то, — говорю, — не подведу, товарищ командующий, да только бы сапоги не подвели: каблуки шибко сносились...

Тогда он, ни слова не говоря, снимает и отдаёт мне свои, яловые. Переобулся я, он обнял меня, заплакал и говорит:

— Вприсядку, Семён Александрович, вприсядку побольше старайся, тогда им, гадам, трудней в тебя угадать будет...

А я про себя посмеиваюсь: какой чёрт им в меня за два километра угадать, если дома, когда я плясал, в меня с трёх метров щепкой никто не попал! Начал я, само собой, с “цыганочки”.

Сеня встряхнулся, несколько раз прошёлся по кругу, отшвырнул в угол попавшийся под ноги веник, отступил к двери, хлопбыстнул картузом об пол и пошёл выделывать такие штуки, что вся баня заходила ходуном, а я сразу же перестал различать, где у него руки, а где ноги и голова.

*И-эх! Я цыганочку-игру
Да лучше милочки люблю.
Когда буду помирать,
Велю цыганочку сыграть...*

В кучу золы вывалилось несколько кирпичей из каменки, и баня наполнилась серой пылью, но Сеня не обращал на это никакого внимания. Я уже совсем не видел его, а только слышал щелчки, дроби, треск половиц да дребезжание вёдер и чугунков.

В починке залалял собаки. Я высунулся в оконце. Около нашего дома остановилась тётка Махониха и, приставив к ушам руки, с беспокойством оглядывалась по сторонам.

— Дядя Семён, ты лучше рассказывай, — попросил я, — а то ещё придёт кто-нибудь...

Сеня опустил на скамейку, тяжело дыша и вздрагивая всем телом. Красная шёлковая рубаха у него взмокла от пота, из хромовых в гармошку сапог выбились штанины.

— Нет, язви её под корень, без гармошки совсем не то... Написал-то много?

Я молча протянул ему тетрадку. Сеня перелистал её и заметил:

— Ты бумагу-то не береги, я тебе в случае чего принесу, — он оправил рубаху, поднял с полу картуз и, закурив папироску “Бокс”, продолжал: — Вот, значит, пляшу я эдак-то час, другой, а фрицы молчат. Молчат — и всё тут, хоть бы разик стрельнули. Командующий, гляжу, совсем расстроился. “Эх, — думаю, — была не была!” — мигнул гармонисту, да и рванул под “Сентетюлиху”.

Сеня опять не выдержал, вскочил с места и пошёл вприсядку, широко раскидывая руки и ноги, точно делал зарядку:

*Сентетюлиха телегу продала,
На телегу балалайку завела.
Пригласите ко мне Колю-игрока,
Посадите в куть на лавочку,
Дайте в руки балалаечку,
Будет Коленька нагрыватьи,
Ну, а я буду наплясывати...*

— Дядя Семён, придут ведь! — предупредил я, заметив, что около бани собирается народ.

Но Сеня ничего не слышал. Он остановился, рубанул рукою воздух и крикнул что было мочи:

— Вот тут-то, в этом самом месте, и не выдержали они, не сдюжили голубчики! Да кы-к жажнут по мне изо всех стволов, и пошло: гармонисту голову — напроць, мне тут же — другого, и того убило, мне — третьего, и тому конец!..

— Дальше-то чего, дальше-то? — не вытерпел я.

— Дальше-то? — переспросил Сеня, широко раздувая ноздри. — Подползает командующий и кричит:

— Бери гармонь, нет больше в армии гармонистов.

Я, значит, беру гармонь и пошёл, пошёл! От подмёток — дым клубами, а мне всё нипочём: они что, мои сапоги-то... А вокруг-то меня — мама родная! Мины, осколки, пули, гранаты, бомбы! Командующий маячит руками:

давай, мол, давай! А я про себя думаю: “Дурачок, да меня, если по-хорошему угостить, так я хоть неделю без всякого отдыха пропляшу...”

В моей голове от увиденного и услышанного всё воспалилось, смешалось и перепуталось: пушки, миномёты, шайки, веники, генеральские сапоги и Сенины частушки.

— Видят они, что дело пустое, и подтянули супротив меня тяжёлую артиллерию, да как шарахнут шрапнелью-то, а я, один чёрт, пляшу и пляшу. Командующий-то орёт, руками машет: хватит, мол, хватит уж, а я остановиться не могу. Спасибо офицерá утащили...

Сеня опустил на лавку.

— Прорвалась хоть армия-то? — спросил я, сгорая от любопытства.

— А ты что думал? Как миленькие прошли: у немцев-то на понюшку ничего не осталось, всё на меня расхлопали...

Сеня смерил меня уничтожающим взглядом, вытер со лба пот и добавил:

— Так-то вот! А ты корьё, дед Флегонт какой-то...

Я трудился целую ночь, а наутро вручил почтальону Митюхе огромный свёрток с документальной повестью “Геройский поступок Жуйкова Сени”.

Ответ мне пришёл через неделю.

“Уважаемый товарищ корреспондент! — писали мне из газеты. — Мы очень сожалеем, что Семён Александрович Жуйков не совершал пока описанного вами геройского поступка, потому что не был на фронте. Однако о его таланте мы сообщили в районный отдел культуры”...

В тот же вечер Сеня сам прибежал ко мне сияющий, запыхавшийся и с какой-то бумажкой в руках.

— Во! Слышал? В районе плясать приглашают! — сообщил он мне. — Узнали всё же про настоящего-то артиста! А-то Кольку Катюхина хотели послать на смотр-то, нашли плясуна! Тьфу!

— Ты зачем наврал-то? — чуть не плача, в отчаянии спросил я. — Ведь у меня теперь ни одной заметки не напечатают!

— Да я виноват, что ли, — искренне изумился Сеня, — что меня на войну не взяли... А если бы взяли, всё в точности так бы и было. Уж Сеня Жуйков не струсил бы... Не-ет! Тут уж, дорогой товарищ, извини-подвинься...

КИНОПЕРЕДВИЖКА

У Лёньки-то Замотаева откуда чего и взялось. Ведь “чижа” вместе с нами гонял, картошку печёную в овине ел, в драных штанах бегал, а вот поди-ка: уехал в город и выучился на киномеханика.

Мы с Санькой только-только червей накопили, на рыбалку собрались, глядим: идёт кто-то к починку, прутиком эдак небрежно помахивает да по-свистывает. Башмаки на жёлтой подошве, штаны навыпуск, фуражка не восьмиклинка какая-нибудь самодельная, а настоящая, магазинная, блином. Грудь нараспашку, а на пиджаке — значки в два ряда блестят, аж глаза режет. В руке — чемодан, да не какой-нибудь фанерный с висячим замком, а настоящий, дерматиновый, с застёжками и ремнями.

Подошёл он к починку, достал из кармана зеркальце круглое, посмотрелся в него, платочком утёрся, выпустил свой белесый чубчик из-под козырька, плечи развернул, грудь “петушиным коленом” выпятил. Фу, ты, ну, ты — лапти гнуты! Ни за что не подумаешь, что Лёнька. Мимо нас прошёл — даже не остановился. Только вздёрнул эдак руку да на часики посмотрел. Тут Санька не выдержал:

— Лёнька! Ты, что ли?

А он слова даже не сказал, только повёл головой в сторону да ещё грудь вперёд выпятил. Мы хотели было с ним рядышком по починку пройти, да куда там: Лёнька и идти-то даже с нами не захотел, а перешёл на другую сторону улицы. Тут мы с Санькой засомневались и решили рассмотреть по-лучше, Лёнька это или не Лёнька. Да, конечно, он! У кого же ещё волосы такие белые да нос “пипочкой”.

— Лень, дай хоть чемодан понесу! — униженно взмолился я.

Тут Лёнька нас вроде бы признал. Он остановился, наморщил лоб, будто вспоминая что-то, небрежно кивнул и спросил эдак совсем по-городскому, между прочим:

— А, это вы, салаги?

— Мы, мы! — радостно подтвердил я и обеими руками схватился за ручку чемодана. У Саньки гордости оказалось побольше, и он промолчал, только носом шмыгнул да штаны поддёргнул. Видали, мол, мы таких. Может, ты вовсе и не доучился на киномеханика-то, как Стёпка из соседнего починка. Тот тоже уехал, а потом сбежал и вот второе лето телят пасёт.

В их починке, по правде сказать, вообще никому не везёт насчёт учёбы: или вовсе не могут никуда поступить, или поступят да сбегут, не доучившись. Уж чего было тому же Кольке Самохвалову в ремесленном училище не учиться: одна шинель с железными пуговицами чего стоит! Так нет, тоже сбежал. Кормят, мол, плохо. Надо же быть таким дураком! Да если бы нас с Санькой приняли в это училище, мы бы вовсе голодные учились и не пикнули бы ни разу! А он: каша одна овсяная с постным маслом... Барин какой выискался, котлеты ему подавай, фигли-мигли всякие со сметаной...

— Лёнь, а ты уедешь или у нас на Варахше будешь кино показывать? — спросил я Лёньку, с трудом отрывая чемодан от земли.

— Да у него, небось, и документа-то нет, — встрял в разговор Санька.

— У меня? Документа? — взвился Лёнька и стал торопливо шарить по карманам. — А это вот что, между прочим?

Мы приблизились к нему и, вытянув шеи, стали смотреть в маленькую книжечку с синими корками. Там чётко было написано, что Леонид Степанович Замотаев, то есть Лёнька, тетки Замотаихи сын, действительно окончил курсы киномеханика тогда-то и там-то. Внизу стояла настоящая гербовая печать, а около неё виднелась неуверенная Лёнькина подпись с повалившимися во все стороны буквами. На другой стороне удостоверения были перечислены предметы, которые Лёнька изучал на курсах. По всем стояли четвёрки и пятёрки, только в середине против электротехники была, наверное, тройка, потому что это место Лёнька плотно прижал большим пальцем.

— Видали? — победно спросил он. — Это вам, между прочим, не рыльце пестика по ботанике разглядывать или соображать, сколько переливается воды из сосуда А в сосуд Б.

Крыть нам было нечем. Насладившись нашим сокрушительным поражением, Лёнька спрятал удостоверение в карман.

— Так ты это... наверное, уедешь теперь? — опять спросил я, уважительно разглядывая значки на Лёнькиной груди.

— Там видно будет... — неопределенно ответил он.

— А то в Козловке, говорят, киномеханика-то в армию взяли...

— Мишку-то?

— Ну, да.

— Какой он киномеханик, — презрительно поморщился Лёнька, — так, самоучка, сапожник, между прочим.

Мы с Санькой промолчали. Да и что тут скажешь? Действительно, козловский киномеханик Мишка никаких курсов не заканчивал и крутил картины кое-как, то с конца начинал, то части путал, то ленту рвал, а если на него принимались кричать, то вообще тушил свет и уходил со своей Зойкой в соседнюю деревню. Мы у него, по правде сказать, ни одно кино толком не посмотрели. Даже "Тарзана" — и то до конца не видели. В самом интересном месте, когда тот кинулся с высоченного моста в море, у Мишки заглох движок, и он не смог завести его до полуночи. А когда завёл — опять не слава богу, движок заверещал на всю округу и пошёл, как пояснили трактористы, в разнос: сорвался с болтов, выкатился на улицу и, если бы не канава с водой, неизвестно, что и было бы. Наверное, всю деревню спалил бы.

— Лёнь, а если здесь останешься, то возмёшь нас в помощники? — спросил я, заглядывая Лёньке в глаза.

Он пожал плечами.

— Зачем мне помощники?

— Ну, лошадь запрячь, аппаратуру погрузить-разгрузить или ещё что...

Билеты можем продавать. Ты не бойся, мы себе ни копеечки не возьмём...

— Билеты, кроме киномеханика, между прочим, никому продавать не разрешается. А что касается лошади, то она мне совсем ни к чему.

— Как это ни к чему? А от деревни до деревни на чём кино-то возить?

— Салага, а машина-то на что! Вот это видел?

Ленька опять пошарил в кармане и сунул мне прямо под нос новенькое шофёрское удостоверение. У нас с Санькой даже языки одеревенели от зависти.

— Ты думаешь, тебе машину дадут? — минуту спустя, спросил Санька. — Держи карман шире...

— А куда они денутся, между прочим...

Санька с сомнением покачал головой. Во всей нашей Варакше было всего две машины, причём у одной уже давно протекал радиатор, а у второй покрышки на колесах сносились настолько, что на ней можно было ездить только по накатанной дороге, да и то в сухую погоду.

— Не дадут тебе никакой машины, — убеждённо сказал Санька.

— Это мне? — напыжился Лёнька. — Мне, между прочим, хоть обе дадут, потому что кино — это тебе не какая-нибудь лекция про Пасху или Троицу. Соображать надо, газетки почитать...

Конечно, никакой машины Лёньке не дали, даже лошади. Поэтому нам с Санькой пришлось запрягать старого-престарого быка Зимогора, которого наши починовцы давно хотели сдать в заготконтору, да всё никак не могли выбрать времени.

Лёнька в тот день вырядился: пиджак какой-то волосатый до самых колен, штаны дудочками и такие узенькие, что неизвестно даже, как он умудрился их напялить на себя. Рубаха рыжими петухами, а сверху — галстук-бабочка в мелкий горошек. Из грудного кармана пиджака уголок голубого платочка торчит, а значки на груди аж в четыре ряда: сверху — побольше, а внизу — поменьше, а под ними — совсем крохотный, даже в очках не разглядишь, что на нём нарисовано. На голове — шляпа-ермолка с зелёным бантом, на ногах — жёлтые ботинки и красные носки в полосочку.

Он приказал нам забрать в Козловке кинопередвижку и везти её в Атаманово, а сам выкатил из сарая отцовский велосипед, сел в седло и покатил в Атаманово, нахвистывая “Бродягу”.

Село Атаманово у нас на Варакше вроде столицы. Там тебе и сплавконттора, и пилорама, и гараж, и пекарня, и магазинов целых четыре. В одном только хлеб продают да пряники, в другом — одежду, в третьем — посуду, а в четвёртом — керосин да соль, да самовары, да железки всякие: чугунки, лопаты, грабли, оцинкованные вёдра и даже маленькие щипчики — сахар колоть, словно его зубами нельзя разгрызть...

А у нас — всего один ларёк крохотный. И в нём всё в одном углу свалено: и хомуты, и соль, и конфетки, и ящики с мылом.

Расположено Атаманово на берегу Какши, на высоком песчаном холме, потому даже грязи на улицах никогда нет. Сколько дождь ни льёт — всё в землю уходит. Село немалое. Одна улица вдоль реки идёт, наверное, на целый километр, да ещё поперёк две. Дома все большие, с резными наличниками, с деревянными медалями на коньках, с огородами, со взвозами. Так что если сено привёз, прямо на сеновал заезжай, и лошадь нечего распрягать. А у нас в починке без мужиков-то эти взвозы попадали, и бабы сено всё вилами деревянными перекидывают на сеновалы-то. В общем, нечего и говорить, лучше нашего атамановцы живут: и земли полно, и лугов. А у нас даже и сенокосов-то не хватает. Всю жизнь бабы осоку по болотам косят по пояс в воде, а потом на носилках на бугры сушить вытаскивают. Так, бывало, за лето упластаются, что всех ветром качает...

Мы остановились у крыльца атамановского клуба, и тут же телегу окружили старухи. Кто-то распустил слух, что привезли инкубаторских цыплят. Старухи выстроились в очередь, и мы с Санькой с полчасца им вдалбливали, что привезли не цыплят, а кино “Чапаев”. Когда, наконец, старухи с руганью расползли по домам, мы пошли разыскивать Лёньку и увидели его в чайной.

Держа двумя пальчиками стакан с клюквенным морсом, то и дело обмахиваясь платочком, Лёнька рисовался перед буфетчицей Райкой.

— Уехать я, между прочим, отсюда решил, Раиса Павловна. Нет, знаете ли, настоящий антитресу. Народ крутом тёмный, бескультурный, необразованный, уж на что батюшка Абросим, и тот дундук дундуком, знаете ли... Я ему в его же массу культуру несю, а он мне какое-то сено под нос суёт. Темнота, в общем. Вы не поверите, Раиса Павловна, до сих пор у нас “цыганочку” да “сентетюлиху” пляшут. Умрёшь и не воскреснешь! Да хоть бы под баян, что ли, или на худой конец под аккордеон, а они под патефон, знаете ли, или под балалайку... Спят на полатах без простыней, едят, знаете ли, из глиняных плошек деревянными ложками. Тарелок не видели. Бескультурие, в общем, неукоснительное. Девки парням кисеты, платочки до сих пор вышивают и, не поверите, Раиса Павловна, не только поцеловать, обнять себя не позволяют... А песни какие поют, вы бы, Раиса Павловна, обхохотались. “Златые горы”, “Семёновну”, будто знаете ли, первобытные люди или ещё того хуже... Цирк, самая настоящая оратория! И не говорите мне, Раиса Павловна, к деревне я теперь отношусь скептически. В городе жизнь совсем другая. Все ходят в штиблетах. Да, да, Раиса Павловна! И маленькие, и большие, и старики, и старухи — все поголовно в штиблетах! Только девки — в туфельках. Идёт, знаете ли, такая краля с радикулем, вроде вас, вся в газу, вся просвечивается, будто в тумане, и каблучками эдак постукивает об асфальт, как козочка. И не поверите, Раиса Павловна, стук этот у вас прямо в самом сердце отдаётся. Подойдёшь эдак к ней, принохаешься — и запах-то совсем другой! Тут тебе и пудрой, и дикалоном, и духовитым мылом — так в нос и шибанёт специфически. А от наших, извините за выражение, вечно овчинами или коровой пахнет. Даже приличных духов не имеют, румян кушать не могут, дуры. Бодягой красятся или свёклой.

... — Нет, нет, в городе всё по-другому... В ресторан зайдёшь, а официант — как тут и был, прямо на полусогнутых к тебе. Салфеточкой махнет эдак по скатерти, изогнётся весь в три погибели. “Не желаете ли, — говорит, — молодой человек, цыпленка с табаком или каклету, сливяночки или ещё чего?” А ты эдак ножку на ножку положишь, карточку-то перед собой поддержишь многозначительно, а потом и ошарашивши его: “Сливянку и мясное не потребляем, а вот салатик, всегда пожалуйста, и плодово-ягодной графинчик!” А у нас медовуху да брагу хлещут и квашеной капустой закусывают. Ужас! Разве это жизнь, Раиса Павловна? Разве приличные люди этого достойны?..

— Вы правы, Леонид Степанович! На сто процентов, — запела своим птичьим голоском Райка. — Хоть вот меня возьмите: из кожи лезешь, как получше сделать, пообходительнее. А тут придёт тракторист, грязь нанесёт, запаху ихнего, да мало того — и скатерть локтями всю завозит...

— Два сапога пара, — шепнул мне Санька и, приблизившись к столу, громко сказал:

— Так что, мы приехали, чего дальше-то делать?

Лёнька так и поперхнулся.

— Да кто вам разрешил сюда являться? — грохнул он по столу кулаком. — Не видите, я с дамочкой беседую!

— Видим, — сказал Санька и поглядел в потолок. — Только ты нам скажи, разгружать или чего? А то у нас бык не поен, не кормлен.

— Бык! Не поен, не кормлен! — как эхо, повторил Лёнька. — Да при чём тут бык какой-то?.. Если я с дамой... Мотайте отсюда, и чтобы духу вашего не было.

— В таком случае, мы распрягать пошли. Только хорошо бы ты на хлеб нам дал, подкормить чуток Зимогора, уж больно шибко он притомился.

Лёнька пошарил в кармане и широким жестом бросил на стол рублёвку.

— Вот видите, какое бескультурие, Раиса Павловна, — сказал он, обращаясь к Райке. — С порядочной дамочкой поговорить не дадут.

— Что с них взять? — подтвердила та, сделав губки бантиком. — Шантрапа...

— Дура конопатая! — обозлился Санька и что есть мочи хлопнул дверями. — Погоди, вот скажут Кольке, он те расчешет космы-то... Доохмураешься тут...

...Никогда нам с Санькой в Атаманове не было такого почёта и уважения, как в этот раз. Бывало, куда ни зайдёшь, отовсюду гонят. А тут, узнав о том, что мы привезли кино, все двери нам открыли. Хлеб — без очереди, конфеты-подушечки — тоже. В клубе шастай, сколько угодно. Мы и в гараже посидели, и слова никто не сказал. Даже колёсной мази дали.

Поначалу мы с Санькой боялись, что атамановский киномеханик Колька выпрет нас из клуба и будет своё кино показывать. Но напрасно мы боялись. Ребята рассказали, что у Кольки на прошлой неделе хорошую картину “Два бойца” забрали в райкинопрокат, а ему всунули такое старьё, что никто ничего не мог разобрать на экране, даже сам Колька, хотя и крутил картину три раза подряд.

Несмотря на то, что “Чапаева” в Атаманове смотрели несколько раз, картина всё равно имела огромный успех. Только с детского сеанса Лёнька собрал рублей сорок, ну, а уж когда начался взрослый, у него трёшками и пятёрками были полны все карманы. Поэтому было решено в Атаманове ночевать и дать на другой день ещё два сеанса.

После кино мы с Санькой задрёнули на сцене занавес и забрались на билльярдный стол спать, но разве тут уснешь! Сначала в клубе стульями гремели, потом музыка заиграла, подошвы по полу зашаркали — танцы начались. И чего хорошего в этих танцах? Соберутся девки в одном углу, парни — в другом. Девки делают вид, что парней не замечают, а парни — тем более. Стоят, похохатывают да табак смолят. А девки пошепчутся-пошепчутся да и пошли танцевать друг с дружкой. Тут старух откуда-то наберётся полклуба. Рассядутся вдоль стен, будто клуши, и начинают обсуждать, у кого какое платье, или штаны, или уши. До родителей у каждого доберутся, до дедов и прадедов. Да всё велух, словно в клубе и нет никого, кроме них.

— Мотря! Мотря! Погли-ко, Манька-то Дуняшкина как взягивает, что те козёл. Вся в батьку в покойника, дай Бог царства ему небесного, не тем к ночи будь помянут...

— А Жихарёнкова Полинка-то? Эконькая баржа, хоть в дровни запрягай! И в кого она эдак разьелась? Матку-то — соплёй перешибёшь, а она погли-ко, какое грузево...

— Васька-то, Васька-то Перегорященский! Поглядите-ка, весь ведь в деда, в Еремея, как капелька капнула... Вишь, и штаны до поджилок съехали...

— А Любашка-то Кожинская — в бабу Сарациониху, ей-богу, бабы, в Сарациониху. Поглядите-ка получше-то, и выходка вся её, и глаз вострый да светлый, и фигурой в бабу ударила. Добра девка! Добра! Ей бы в самый раз с Лёшкой Новозаводским дружитья-то, а она с Панком Михалёнком путается, с носатым-то...

— А Флегонтовы-то ребята хороши доцево, поглите-ка! Кудрявые все да здоровые. Кровь с молоком. Как голубоцки, сидят на лавочке...

— Коло их-то вроде Митрея Захарова парнецок, востреносенький-то...

— А Бородинская-то Файка, дак как сорока на колу крутится... У неё и матка такая же верчёная, Маланья-то. На мельницу приедет, бывало, дак всех мужиков с ума сведёт, будто буря нагрянет...

— У Зойки-то Федонькиной боты-то худые. Видно, всё пьёт батько-то. Как не стыдно! И бабу извёл, и ребят изводит. С эконькой-то ряшкой ему бы в самый раз на лесоповале робить, а он в коновозчики в сельпе приткнулся да и пьёт кажинный день, души послушавши...

— Да, бабоньки, раньше-то так не пили. На всю Варакшу один Миша Колодешник был пьяница-то. Дак и то стыдился. Бывало, как запьёт, дак всё в бане у себя прячется... А теперь, погли-ко, по полдеревни пьяниц...

Мы с Санькой возились, возились на столе, но заснуть никак не могли.

— Айда и мы поглядим, что ли? — сказал, наконец, он, спуская со стола ноги.

— Айда.

В клубе заиграли какую-то странную музыку, под которую никто не знал даже, как танцевать. Долго все стояли неподвижно. Потом наш Лёнька, перебирая ногами, точно козёл, направился к Райке-буфетчице. Она стояла поодаль от всех, блестя бусами, серьгами и лентами, точно лошадь в свадебной сбруе. Народ затаил дыхание. Баянист, склонив голову к мехам, старательно выводил замысловатые переборы. Лёня остановился в двух шагах от Райки, одёрнул свой волосатый пиджак и вместо того, чтобы сразу взять её за руку, согнулся в три погибели и помахал у её подола рукой.

В клубе ахнули. Райка медленно обвела всех победоносным взглядом и чуть заметно наклонила голову. Лёнька выпрямился, одной рукой взялся её за руку, а другой обхватил за талию и повёл на середину зала, вихляясь, точно на шарнирах.

На середине он согнулся дугой, согнул в дугу и Райку, так что у той даже подол выше колен задрался, и так вот и пошли они сначала в одну сторону, а потом в другую.

— Вот это да! — произнёс кто-то завистливо в толпе девок.

Старухи опомнились и наперебой загомонили.

— Чёй это? Погли-ко, что выкусывает, того и гляди переломит девку-то...

— Да это Степки Замотаева, должно, с Выползова починка. Вишь, белобрысенький да губатой...

— Эко вырядился, как петух!

— Батька-то не только плясать, тележного скрипу боялся, а он побыл где-то, вишь, как выкомуривать научился.

— А Райка-то совсем бессовестная и подол задрала... Да прямо так и льнёт к нему.

— Вот Колька-то не видит.

— А где Колька-то?

— Да тут был. Небось, с дружками выпить ушёл...

Лёнька между тем выпрямился, прижал к себе Райку ещё плотнее, и они стали едва шевелясь ходить посередине, положив друг другу головы на плечи...

— Эконь-ко что делается, бабы! Совсем совесть потеряли, принародно обнимаются. Подол-то ещё выше задрать да и отхлестать, как следует. Да и этому пупырю-то штаны-то спустить да крапивою!..

Танцевать новый танец по-прежнему никто не осмеливался. В углах только охали изумлённо да похохатывали. Потом вдруг всё стихло.

— Колька, Колька пришёл! — пронёсся испуганный шёпот.

В окружении подвыпивших дружков Колька-киномеханик вышел на середину зала и, оперев руки в бока, стал изумлённо разглядывать танцующих. Его дружки подхихикивали сзади. Разглядев Райку, Колька сперва пошёл белыми пятнами, потом красными, потом отпихнул дружков локтями и тяжело приблизился к своей ухажёрке.

— Ты что это вытворяешь? — спросил он на весь зал. — А? Я тебя спрашиваю? Я к тебе свататься хочу, а ты подолом перед каким-то шибзди-ком трясешь? Голову, понимаешь, ему на плечо положила...

В зале послышался смех. Колька взял Райку за локоть и дёрнул к себе, так что у неё из кони вздыбленных волос вылетело несколько заколок. Лёнька от толчка едва не упал на пол. Баянист прекратил игру и с любопытством уставился на эту троицу.

— Как вы смеете, невежа! — взвизгнул, опомнившись, Лёнька и тоже пошёл пятнами.

— Кто, кто? — прищурился Колька, отпихивая Райку в сторону.

— Невежа и, можно сказать, хам, между прочим! — презрительным петушиным голосом выкрикнул Лёнька, оглядываясь по сторонам.

— А ну-ка, поддержите, ребята! — угрожающе набылчился Колька, торопливо стаскивая с себя пиджак. — Я ему покажу сейчас и хама, и невежу.

Старухи повскакали с мест, сбились в кучу и испуганно загалдели.

— Колька, вражий сын! Не связывайся, посадят!

— Дай, дай ему! Не слушай старых вешалок, — подбадривали Кольку дружки. — Вишь, до чего падок на чужое-то!

Райка с визгом повисла на Колькином могучем плече, но он стряхнул её, точно соринку. Лёнька, видимо, от страха зажмурил глаза и куда попало замолотил кулаками. Один удар попал Кольке в губу и окончательно вывел его из себя. Он размахнулся и, громко крикнув, будто сучковатую чурку раскалывал, врезал Лёньке куда-то под челюсть. Тот, дрыгая ногами, пролетел метра три, упал спиной на стол в углу, проехал по нему, словно по льду, и свалился вверх тормашками на пол. Колька опять стал к нему приближаться, но Лёнька проворно выскочил из-под стола, прыгнул на подоконник и, высадив стекло вместе с рамой, с громкими криками побежал вдоль улицы. В клубе громко захохотали. Мы с Санькой бочком-бочком пробрались на улицу и стали запрягать Зимогора...

Лёнька ждал нас за мостом. На нём уже было галстука-бабочки и оранжевых ботинок.

— Дикари! Первобытные люди! — ярился он, стаскивая с телеги свой велосипед и отплёвываясь кровью. — Культурного обращения не понимают. Хамло! Завтра же, завтра же уеду отсюда!

Вскоре Лёнька и в самом деле уехал, но, я думаю, не из-за того, что его побили, а потому, что кинокартину “Чапаев” у нас в Атаманове подменили на то самое старьё, которое показывали атамановцам взамен “Двух бойцов”. Мы крутили её в трёх починках, но никто даже не мог понять про что она: про войну или про любовь...

ПРОСТОТА ХУЖЕ ВОРОВСТВА

Меня же после плясуна Сени Жуйкова не только не перестали печатать, а пригласили даже в газету на слёт селькоров. Сам редактор принял меня, как родного: взял под руку и повёл в свой кабинет, а там начал поить чаем с халвой. Потом спрашивает:

— А как дела в вашем колхозе?

— В каком, — говорю, — колхозе? У нас его отродясь не бывало.

— Как так?

— Да очень просто: уполномоченные ежели нагрянут, дак пока пурхаются в низинах, наши-то все коров на лямки, самовары на плечи — и айда в тайгу. Тама у всех избушки есть запасные: хоть неделю, хоть две можно жить.

— Интересно, интересно... И престольные праздники, наверное, справляют?

— Справляют все подряд: и престольные, и советские...

— Наверное, и самогон гонят?

— Само собой. Аппарат-то у нас дорогой, сыном бабки Боботки деланный в Челябинске на заводе. Поэтому, чтобы не прознали про него, дак в лесу у Кривого омута в сторожке его держат. Там и гонят по очереди. Только деду Егору не дают. Он, как напьётся, так и орёт на всю тайгу: “По диким степям Забайкалья...” Услышать же могут в соседних-то починках, да и украдут. У них такого ашарата в жизни не бывало. Гонят-то через ствол старого ружья, который пропущен через деревянное корыто. А в корыто или лёд кладут, или холодную воду наливают...

— Ну, а песни-то какие у вас по праздникам поют: советские или старинные?

— Да всякие. Но больше “Златые горы” да частушки супротив советской власти.

— Например?

— Мишка Мезерин на Ветлугу в прошлом году на заработки ходил, но что заработал, то и пропил, да на “раковых шейках” конфетах проел. Про это и поёт:

*На Ветлуге я работал —
Полкотомки вшей принёс,
Дома вывалил на лавку —
Мамка думала: овёс.*

— Изумительно! Ну, а супротив советской власти чего?

— А это больше Колька Кукушкин базлает:

*Сталин Ленина будил,
По плешине колотил:
— Ты вставай, такая мать,
Пятилетку выполнять!..*

— Или ещё...

— Хватит, хватит! — замахал руками редактор и заоглядывался по сторонам.

Эх! Правду же говорят: простота — хуже воровства. На-амного хуже! Являюсь я домой-то через два дня, а там уж весь наш Выползов починок энкавэдэшники разгромили. Окружили целым батальоном и пошли чесать: кого побили, кого оштрафовали, а Кольку Кукушкина с собой забрали и даже самогонный аппарат увезли...

Меня же чуть не убили. Целую неделю в овине в ржаной соломе скрывался. А когда после десятилетки в этот “Красный льновод” меня стали сватать корреспондентом, тут уж вся Варакша на дыбы поднялась. Родителям моим так прямо и заявили: ежели вы его отпустите в эту газету, то мы и дом ваш сожжём, а вашего выпоротка — меня то есть — или утопим, или пришибём, как того придурка Пашу Морозова, который деда родного заложил. Потому что, ежели ваш выпороток уйдёт в этот *клязунник* “Красный льновод” да всю подноготную про Варакшу начнёт обкалывать, дак нам всем Колымы или Соловков не миновать...

А батюшка Абросим вызвал меня и говорит:

— Ты, Колька, иди лучше на ветеринара, потому что писательство — это дело не крестьянское, а дворянское. Им нечего было делать-то, вот и писали да скулили о бедных и угнетённых вместо того, чтобы всю землю им по-божески разделить. Ну, и доскулились до Троцкого да до Ленина... А наш-то Лукашка-коновал, сам видишь: совсем с круга спился, уж скоро быка от коровы отличить не сможет...

Лукашка-коновал славился у нас на всю Варакшу тем, что при любой болезни прописывал скотине пол-литру водки или самогонки, из которой половину всегда выпивал сам прямо в хлеву, услав бабу зачем-нибудь в избу, а другую половину выпаивал корове или свинье через длинную резиновую трубку. Он даже свой скальпель давно потерял и поросят кастрировал сапожным ножом, то и дело обмакивая его в самогон для дезинфекции. В каждом доме, несмотря на категорический запрет батюшки Абросима, его угощали. Так что в последние дома его водили уже под руки. А он, желая показать свою учёность, поднимал кверху кривой указательный палец и прорицал:

— Сердце, товарищи, что у коровы, что у лягухи, что у овцы, что у свиньи, что у бабы — одинаково. Это есть мускульный, конусообразный полый орган для переливания крови — и больше ни-хре-на!

ГИБЕЛЬ ВАРАКШИ

Крепка оказалась советская власть. Крепка! Намного крепче даже нашего батюшки Абросима. Первым делом у него трактором стащили все пять куполов с церкви, а потом взорвали её, и распалась она на огромные глыбы.

Потом взялись за починки, хутора и деревни. Населённый пункт, по всем правилам военного искусства, ночью окружали энкавэдэшники, а утром якобы за налоги, не уплаченные со времён Стеньки Разина, отбирали у варакшонков всё, вплоть до деревянных кадусек и недосохших в овинах снопов.

Нетронутыми остались только гололопники да чащобники, куда даже на тракторе каратели доехать не сумели. И бедные мои земляки бросились кто куда: кто в города, кто в леспромхозы, а кто в артель Оборону. О ней я вообще не хотел упоминать, но раз заикнулся, то расскажу. Это нелегальная артель, о которой *бойцы невидимого фронта* даже и не подозревали, существо-

вала за Обабошными болотами на Кобыльей речке, в самой глухомани, и была как бы промышленной столицей Варакши, вроде американского Дейтбота.

У них имелась даже самодельная “локобилия” на дровах и опилках, на которой днём пилили штакетник, а ночью жгли электричество. Был также смолокурный заводик, на котором гнали смолу и дёготь из бересты. Была ещё грибоварня, цех мочёной брусники, копчения рыбы и лосятины.

Руководил артелью мой дядюшка Егор. По первоупутку вся изготовленная дядюшкой продукция куда-то сбывалась, её вывозили на лошадях и на полупортке. На вырученные деньги он привозил продукты, одежду и всё, что требовалось для автономного проживания. Перед праздниками вся Варакша тайными тропами стекалась в Оборону за сахаром, белой мукой и ситцем, потому что во всём остальном наши люди особо не нуждались...

В Обороне была даже деревянная церковь, в которую, правда, дядюшке не удалось залучить ни одного священника. Поэтому церковь для мужиков служила распивочной, а колокол звенел лишь при каких-нибудь стихийных бедствиях.

Всяких других подробностей я сообщать не намерен, поскольку наряду с мужиками, бежавшими в артель от раскулачивания, белогвардейцами, дезертирами и всяким другим беспаспортным людом, у дядюшки работали и такие ухари, которых, возможно, до сих пор разыскивает или милиция, или *бойцы невидимого фронта*.

Перед смертью дядюшке удалось легализовать Оборону. И зря. В неё тут же направили из района проштрафившегося начальника райтопа Крысана. И за три года с моим вторым дядюшкой Иваном они всё прошили. А когда нагрянула ревизия, в кассе обнаружили лишь медные пятаки, а на складе — резиновые сапоги 48-го размера да полмешка овса.

Судили их выездным судом, но так и не сумели осудить. Смягчающим обстоятельством послужило то, что они артель просто прошили, но лично не нажились... Суд шёл целый месяц и до того был запутан мужиками, что прокурора с инфарктом вынесли из клуба на носилках...

Так Дейтбот пал от русской дешёвой стали, а Оборона — от русской дешёвой водки под знаменитым брэндом “берёзовый сучок”.

И с тех пор опустела сторона Варакша. Теперь вы будете бродить по ней и неделю, и две, и три, и уж не встретите ни села, ни деревни, ни починка, ни одного живого человека. А пойдут навстречу ещё до конца не заросшие полянки с жёлтыми буграми от размокших глинобитных печей, провалившиеся колодцы с жалобно поскрипывающими на ветру журавлями да домишки с прогнившими крышами. Изредка с шумом взмоет прямо из-под ног глухарь с тёплого погребца, или выйдет на дорогу лось и будет долго смотреть вам вслед. И я несколько не удивлюсь, если в наших местах векомре опять появится какой-нибудь капитан Копейкин или новый атаман Варакша и с отважным криком “Сарынь на кичку!” поведёт ватагу на Вятку, Нижний Новгород, Кострому, а то и на погрязшую в коррупции и разврате столицу...

ХОЗРАСЧЁТ

Залыпанный грязью попутный “газик” остановился у правления самого отсталого в районе, а может, и на всей Северной Двине колхоза “Заря коммунизма”. Придав своему лицу важное и озабоченное выражение, я вошёл в контору.

— Где председатель? — спросил я нетерпеливо у секретарши могучего телосложения, которая как бы невзначай выставила навстречу мне свои калёные ноги в новых лаковых полусапожках.

— Да оне, должно, пьянствуют, — простодушно ответила та. — Как уборку кончили, так и не просыхали ишло...

— Безобразие, немедленно приведите его сюда! — приказал я, тут же решив наряду с хозрасчётом рассмотреть и вопрос о моральном разложении председателя.

Секретарша ушла. Я, заложив руки за спину, прошёлся по кабинету, брезгливо пошевелив носком ботинка истриженный мышами кукурузный сноп в углу, и стал звонить в управление агрономше Леночке, намереваясь рассказать ей о своих дорожных приключениях, а самое главное — узнать, пойдёт ли она сегодня без меня в Дом культуры на танцы.

Вскоре явилась секретарша и сообщила:

— Не идут оне, к себе велели просить.

— Вот ещё! Я ему частное лицо, что ли, кум или сват какой?

Тогда секретарша зашла с боку и нельзя сказать, что толкнула меня, но как-то так повела своим мощным бедром, что я сначала оказался на крыльце, а потом и на улице.

В огромном председательском пятистенке из-за стола поднялся медвежьего вида дядя в одном исподнем и с розовым, точно половинка спелого арбуза, лицом, по которому я сразу узнал знаменитого на весь район председателя Сеньку Скрылёва, о котором по всей округе ходили легенды. Последний раз буквально недели две назад его отчитывали на бюро райкома за пьянку, и надо было видеть эту картину. Донельзя возмущённый секретарь, брызгая слюной и потрясая перед носом Семёна какой-то бумажкой, орал так, что качалась и звенела люстра:

— До чего докатился, Семён Поливертович! В рабочее время работников бухгалтерии! В магазин за водкой!

— Да ты что, мать-перемать! — невозмутимо парировал Скрылёв. — Я что тебе, ещё с полеводства людей снимать буду? И так народу нет. А этим крысам чё делать-то? Ведь целёхоньки дни газетами мух бьют...

Дело кончилось тем, что секретарь в тот же день лично поехал в колхоз снимать с должности Скрылёва. Однако поскольку в “Заре коммунизма” пили поголовно все, ничего у него не получилось. Народ дружно и решительно отверг райкомовского выдвиженца.

— Кто будешь? — спросил меня председатель, когда мы зашли в дом, и почесал пониже спины.

— Зоотехник из райуправления, — ответил я, несколько стусевавшись.

Председатель был выше меня головы на две.

— Бумаги есть?

— Есть.

Я достал командировочное удостоверение. Он покрутил бумажку в руках и спросил:

— Чё сам-то глаз не кажет?

— Начальник, что ли?

— Ну!

Я пожал плечами.

— Мы бы ему намылили тут холку-то! Ишь, чё выкусывает: то ему ячмень в поставку подавай, то расчётном каким-то страшает...

Он опять почесался и обратился к секретарше:

— А ты чё вылупилась? Ступай, коли так, да собери в клубе народ!

— Не придут, Семён Поливертович, кому охота шлёпать по эконькой-то грязи...

— Скажи, кино после будет, не знаешь, чё сказать, чё ли?

Он нагнулся, завязал тесёмки на кальсонах и кивнул мне на лавку:

— Садись, раз приехал.

Я неохотно присел на крашек. Председатель тоже сел и, пошарив у себя под ногами, достал недопитую бутылку и налил до краев гранёный стакан.

— Хлобыстни-ка, с дороги-то!

— Я не пьющ...

— Не уважаешь, значит? — оборвал он меня. — А вот это нюхал?

В ту же минуту у самого моего носа появился кулак величиною с копыто хорошего мерина.

...Часа через полтора мы пришли в клуб, где, к моему удивлению, было полно народу. Председатель твёрдой походкой прошёл на сцену. Сел за стол и, подперев голову руками, задремал. Вопрос о его “моральном разложении” после совместной выпивки отпал как-то сам по себе. Поэтому мне пришлось на-

чать сразу с хозрасчёта. Я добросовестно прочитал все вырезки из последних газет с выступлениями Никиты Сергеевича Хрущёва, потом не удержался и стал толковать ещё и от себя, привлекая в помощники всех классиков экономики, вплоть до Адама Смита. Народ безмолвствовал, поглядывая на председателя.

Наконец, он, чуть приоткрыв один глаз, спросил:

— Счетовод тут?

На сцену, шибко припадая на одну ногу, взлетел, точно птица, рябой мужичонка в серых чёсанках с галошами и, заикаясь, доложил:

— Т-туточки я, С-семён П-поливертович!

— Объясни-ка, Спирька, это дело в двух словах народу попонятнее...

— Х-хозрасчёт, это, С-семён П-поливертович, в б-банке денег в д-долг д-давать не с-станут. Б-без окладов н-наседимся, мать-перемать!

— Так, так... — поморщился председатель, нахмурившись. — Прото-кольна-то книга с собой у тебя?

— Т-туточки! — громко хлопнул себя счетовод по груди.

— Садись, записывай, коли так.

Счетовод достал из-за пазухи засаленную амбарную книгу и, примостившись на краешке стола, изготовился писать.

— Значит, такого-то и такого-то, — начал диктовать председатель, — слушали зоотехника из управления, про этот... как его?

— Х-хозрасчёт, — услужливо подсказал счетовод.

— Слушали, стало быть, про хозрасчёт и постановили: расчёту этого не принимать, а ячменя не сдавать ни одной пригоршни!

— Ни-ни одной п-пригоршни... — как эхо повторил счетовод, бойко чиркая пером по бумаге.

— Записал?

— З-записал, С-семён П-поливертович: “не сдавать ни одной п-пригоршни”.

Председатель тяжело поднялся, гулко ударил себя кулаком в грудь и обратился к залу:

— Правильно говорит, товарищи колхозники, по данному вопросу Сенька Скрылёв?

Клуб взорвался разноголосым одобрением и бурными аплодисментами.

В ту же минуту в зале погас свет и в темноте застрекотал киноаппарат.

— Вишь, дорогой товарищ, не желает народ вашего хозрасчёту, — сказал мне на ухо председатель. — Видать, не дозрел ишшо. Так что ты больше не приезжай с ним. Выпить или к жёнке какой незамужней — завсегда пожалуйста. А с этим расчётом не ездят, ну его к лешему, мы тут как-нибудь и без него проживём...

ВОЛЬДЕМАР

Вольдемар Опёнкин был первым жителем, с которым я познакомился, прибыв в эти места на дряхлом пароходишке, у которого всё скрипело, дребезжало и брэнчало, словно в старой избе при землетрясении. Дело было весной, в самом начале навигации. В непроглядном тумане пароход “Гоголь” из Северной Двины свернул в Пинегу и шлёпал по ней целую ночь, пока не сел на мель у какой-то деревни. Тут всё и открылось. Подивиться на пароход сбегалась вся округа. Капитан материл матроса, который мерил ночью шестом глубину. Матрос же материл капитана за то, что тот до сих пор не обо-рудовал пароход локатором. “Гоголь” долго дергали двумя колхозными бар-жами и только к обеду стащили на фарватер.

Потом на каждой пристани его задерживали толпы мужиков, жаждущих бутылочного жигулёвского пива.

Вот и в Верхней Пойме я едва пробился к пристани сквозь штурмую-щую пароход толпу. Через полчаса все отоварились. Пароход дал гудок и от-валил от пристани, и тут обнаружилось, что один малый, смахивающий на Сергея Есенина, сойти не успел. С целой охапкой прижатых к груди буты-лок, он метался по палубе, пока кто-то не крикнул:

— Бросай, бросай бутылки и прыгай!

И малый начал метать бутылки, словно гранаты, на раскисшую серую глину, потом взвизгнул, крикнул: “За Родину, за Сталина!” — ухнул в ледяную воду и поплыл к берегу. Это и был Вольдемар Опёнкин. Он жил тогда в самой редакции и спал на каком-то драном диване, над которым на гвоздике висел его выходной костюм. Из всех вещей у него была трубка, гитара с оборванными струнами да чемодан без ручки, которую заменял ремень с морской бляхой.

Пока он переодевался в этот выходной костюм, я принялся рассматривать разваленные по столу и подоконникам фотографии, довольно любопытные, но явно непригодные для публикации. На одной из них в длинной шеренге на фоне уже знакомой мне пристани стояли, широко улыбаясь, совершенно голые женщины.

— Это проститутки и тунеядки, высланные из Ленинграда, — пояснил Вольдемар. — Принципиально в знак протеста продефилировали через весь райцентр нагишом, потом в своём бараке пропили всё, вплоть до постельных принадлежностей, занавесок, кастрюль и бачков для воды. Целым батальоном милиции едва сплавили их в соседний район...

— А это кто? — показал я Вольдемару фотографию с каким-то здоровущим мужиком, которого погоняла поленом довольно симпатичная бабёнка.

— Это твой начальник сельхозуправления Сурмин, — захохотал Вольдемар, — случайно ко мне в объектив попал. Скоро познакомишься, раз тебя к нему направили главным зоотехником. А с поленом — его жена. Она его застукала в гостинице у знаменитой артистки, которая тоже была выслана из Ленинграда за пьянство и распутный образ жизни.

Потом под руку мне попала баба со свиноматкой, у которой я насчитал аж двадцать пять поросят.

— Это наша передовая свинарка из колхоза имени Ленина, — пояснил Вольдемар.

— Но так же не бывает, чтобы у одной свиноматки было столько поросят.

— А я откуда знал, что они их от другой свиноматки подсаживали. Полгода прославлял их через свою газету, пока другая свинарка не раскрыла это дело. Моей и слава, и деньги, и грамоты, а той — ничего...

— Тут вот олени, целое стадо. Разве в районе и олени есть?

— Это на Пинеге. Они частенько от хантов к пинжакам забредают из тундры. Тогда те везут нашим выкуп: два ящика водки или ящик спирту. А если наши коровы к ним забредут, тогда уже пинжаки едут к ним с таким же выкупом...

— Двухэтажное здание с флагами — это райком?

— Да, только это два райкома.

— Как это?

— Хрущёв недавно разделил везде райкомы на промышленные и сельские. По этому поводу и анекдот сразу сочинили. Прибегает баба в сельский райком:

— Мужик дерётся.

— Чем дерётся? — спрашивают у неё.

— Разводным ключом.

— Тогда ты не туда явилась. Тебе надо в промышленный райком. Вот ежели бы он тебя шкворнем от телеги, или серпом, или вожжами, тогда да, к нам надо...

Потом мне стали попадаться снимки, на которых высились горы корёженных-перекорёженных брёвен.

— Противотанковые заграждения, что ли?

— Молевой сплав, — пояснил Вольдемар.

— Не понял.

— Чего тут понимать? Весь заготовленный за зиму лес весной скатывают в притоки Двины, и чуть где проморгали, их клинит в узком месте или на изгибе речки. А она течёт. Под первый ряд брёвен подныривает второй, третий, и через некоторое время образуется километровая плотина, которую никак уже растащить невозможно. Речка меняет русло, а бревна так и гни-

ют годами... Впрочем, и половину из тех, что попадают в Двину, уносит в Баренцево море. А там у норвегов построен специальный флот. Брёвна эти они подбирают, прямо на судах распиливают и везут в свои порты уже полуфабрикаты. Из них производят мебель для всей Европы и для наших больших начальников.

Попался мне и портрет Карла Маркса, но был основоположник классово-вой борьбы почему-то в полушубке.

— Это председатель колхоза “Красный пахарь” Акиндин Мышкин, — объяснил Вольдемар. — Ты не поверишь: у них в Никольском почти все мужики на пламенных революционеров похожи. Даже Лейба Троцкий есть. Я всех старух опросил, думаю, может в ссылке кто был? Ничего подобного: кроме высланных из Мурманска бичей, никого не бывало. Загадка природы. Может, ихние души в пинежских мужиков переселились? Если это так, то не миновать нам новой революции... Мышкин, пока не запил, на всех совещаниях в президиумах сидел. А как запил, райком приказал сбрить не только бороду, но и усы. Ему недавно очередной выговор влепили. В Архангельске в ресторане “Север” напился, достал печать и начал её ставить на подолы официанткам. С этого, говорит, момента вы являетесь колхозниками “Красного пахаря”. Девчонки в рёв: они только что из деревни сбежали. Пожаловались директору, ну, тот и снарядил “Карла Маркса” в вытрезвитель.

Перебрав фотографии, я стал перелистывать подшивку газет и сразу обнаружил в ней с десяток квитанций из медвытрезвителя, сколотых скрепкой.

— А это ты зачем хранишь?

— На случай перемены власти, — продолжал хохмить Вольдемар. — Как она переменится, так и заявлю: “При советской власти подвергался репрессиям!” — и предъявлю эти квитанции...

КОПЕЕЧНОЕ ДЕЛО

Оставшись однажды за председателя, я, конечно, несколько раз проехал на его “козле” по селу, чтобы показать, кто теперь тут хозяин. Потом сделал хорошую выволочку своему недругу — главному агроному Клековкину. Ведь что творит, подлец! Только чуть проморгай на уборке, тут же спешит на животноводство и мякину всякую вместо зерна, и полову, и кукурузу, которую запахал, и свёклу, которую не сеял.

Я собрался было заодно отчитать ещё и главного ветврача, чтобы шибко много не забирал себе в голову, но тут в приёмной послышался какой-то шум, приглушённая ругань, и в кабинет ворвался цыган с топориком и в таком засаленном пиджаке, что он показался мне кожаным.

— Будулай, — коротко представился он и в подтверждение сунул мне в руку удостоверение ударника коммунистического труда, правда, почему-то без печатей и подписей.

Потом, подступив ко мне вплотную, цыган указал на топорик.

— Видишь?

— Ну, в-вижу... — ответил я в некотором замешательстве и на всякий случай отодвинулся к стене.

— Ничего ты не видишь!

Он подбежал к батарее парового отопления и с размаху ударил топором по трубе так, что по всей конторе прокатился гул, словно перед землетрясением. После этого он ловко швырнул топорик мне на стол.

— Гляди!

Неизвестно зачем я взял топорик и повертел его в руках. Ничего особенного: топор, как топор.

— Хорошо гляди, начальник!

С этими словами цыган бесцеремонно захватил мою голову обеими руками, точно арбуз, и пригнул её к самому столу так, что я носом почувствовал даже холод обуха.

— Видишь лезвие, начальник?

— Ну, вижу, — ответил я, с трудом освобождая голову. — Ну, и что?

— Металл видишь?

— Обыкновенный металл. Сталь марки три, должно быть...

— Эх, умная голова, да дураку дадена. Ты пощупай, зазубрины есть?

Тут он сцапал мою руку и провёл ею по краю лезвия. Зазубрин я, действительно, не почувствовал.

— Ага, то-то! — победоносно воскликнул он. — Сталь — высший сорт! Железо руби — ничего не будет! Тебе хватит, детям твоим хватит, детям твоих детей хватит. Всем хватит! Дарю!

Я хотел было запротестовать, но Будулай ни с того ни с сего, как подкошенный, рухнул на колени. Я вытаращил глаза, а он, не давая мне опомниться, воздел руки к потолку и закричал на всю контору:

— Работу давай, начальник! Работу! Жена с детишками с голоду пухнут.

— Пожалуйста, пожалуйста. Только встаньте! — засуетился я, оглядываясь на двери. Ещё зайдёт кто-нибудь, чёрт знает, что понесут потом по селу: на столе — топор, рядом — человек на коленях...

— Скотником пойдёшь?

— Скотником тыфу! — плюнул цыган, не вставая с колен. — Кузнецом хочу, железа хочу, душа молот просит!

— Ну, хорошо, хорошо. Лошадей ковать...

— Лошади тыфу! — опять сплюнул цыган уже прямо на дорожку. — Лошадей задаром подкую, настоящую работу давай! Бороны давай! Много борон давай!

Я кое-как поднял его за подмышки, усадил на стул и вызвал главного агронома.

— Много у тебя борон неисправных? — спросил я несколько заискивающим тоном, давая понять, что уже не держу на него никаких обид.

Клековкин криво усмехнулся.

— Ты лучше своих первотёлок считай. По второму году доятся, а всё в девках числятся...

— Это не твоё дело... — вспыхнул я.

— А бороны, выходит, твоё?

— Моё!

— Ну, тогда сам и считай! Только гляди, не получилось бы у тебя с этими боронами, как у того председателя с Черевкова.

— У какого ещё председателя?

— А которому баржу-то красили...

— При чём тут баржа?

— А при том. Заплатил он им денежки, а потом глядит: у баржи-то всего один бок покрашен, что от берега. Председатель за ними вдогонку, а они ему: так, мол, в договоре записано, начальник. Мы, цыгане такие-то, с одной стороны, а ты, стало быть, председатель и члены правления, — с другой стороны...

— Ай, ай, ай! — замахал Будулай руками. — У такого умного начальника и такой глупый агроном...

— Ну, это ещё неизвестно, кто тут глупее, — сказал Клековкин и, демонстративно пнув дверь кабинета, вышел.

О количестве борон в колхозе, конечно, никто не знал: ни бухгалтер, ни инженеры, ни экономисты, ни бригады. Одни говорили — сто, другие — четыреста, а третьи загибали вообще под тысячу.

Я заглянул в расценки. Дело получалось совершенно копеечное. Правка и заточка зубьев стоила одну десятую копейки, столь же дёшево расценивалось откручивание и закручивание гаек, правка поперечин и так далее. Я махнул рукой и не стал указывать в договоре количество борон, а указал только расценки.

— Умная голова! — похвалил меня Будулай и тут же исчез, словно дематериализовался, а я ещё долго ходил по кабинету, довольный потирая руки и предвкушая, как будет меня хвалить, вернувшись из отпуска, председатель за это необычайно выгодное дельце.

После обеда в колхозе началось, однако, что-то непонятное. Хотя Будулай и уверял, что у него никого нет, кроме жены и опухших от голода де-

тишек, к конторе прибыл целый обоз. Цыгане прямо под окнами разбили лагерь и, несмотря на мои энергичные протесты, стали свозить сюда же бороны. Вскоре ими была завалена уже половина сквера. Наступила ночь, но подвоз борон не прекратился.

До самого утра в селе скрипели повозки, гремело железо, и слышались гортанные крики цыган.

К полудню боронами была заполнена не только вторая половина сквера, но и прилегающая к конторе улица. Цыгане привезли из гаража десятка три старых автомобильных покрышек, запалили несколько огромных костров, повесили над ними железные бочки с гудроном, и вскоре Яков Михайлович Свердлов на своём постаменте от копоти и гари стал больше походить на беспризорника, а флаг трудовой славы — на какой-то пиратский стяг...

В дело, по моему наущению, вмешался было участковый, но цыганки подняли такой гвалт, что милиционер, заткнув уши, тут же убежал к себе в участок и больше не показывался.

С нехорошими предчувствиями я, точно Наполеон, сложив на груди руки, смотрел в окно на эти странные огни. Позади меня в полном безмолвии стояли главные, старшие и просто рядовые специалисты во главе с конюхом Евстигнеичем.

— Как вы думаете, что они собираются делать? — спросил я Евстигнеича в расчёте на то, что он лучше других сможет объяснить поведение цыган, поскольку, как и они, всю жизнь имеет дело с лошадьми.

— Да уж хорошего ждать не приходится, — задумчиво ответил Евстигнеич, почёсывая у себя в затылке. — С ними только свяжись... Я-то ведь, ежели бы не они, может, теперича начальником всего “чермета” работал или ещё повыше... А вместо этого должности лишился да ещё и насудился, как самый распоследний жулик.

Евстигнеич в волнении стал закуривать, рассыпая по полу махорку.

— Вызывает меня снова начальник и говорит: поступило, слышь, указание от цыган бытовой лом принимать. Ну, принимать так принимать. Стал принимать. А они до чего додумались: сдадут мне телегу этого хлама, поедут будто выгружать, а сами в повозку другую лошадь впрягут и опять ко мне на весы с той же телегой. Месяца три вот эдак-то одну повозку сдавали, пока ко мне из ОБХСа не пришли...

В конторе, несмотря на закрытые окна и форточки, стало нечем дышать от резиновой гари, и мои сослуживцы, обрадовавшись этому обстоятельству, потихоньку разбрелись по домам. Ушёл на конюшню и Евстигнеич, одарив меня на прощание долгим сострадательным взглядом.

Цыгане между тем сложили бороны друг на друга большими штабелями и стали их поливать жидким гудроном. Часа через два всё было кончено, и в кабинет ко мне вошёл Будулай в сопровождении двух молодцов самого что ни на есть разбойничьего вида. У одного глаз был залеплен чёрной круглой заплатой, у другого в ухе болталась настоящая пиратская серьга, а из-за голенища выглядывала рукоять полуметрового кинжала, какими в деревнях режут свиней.

— Принимай работу, начальник! — бодро сказал Будулай и панибратски похлопал меня по плечу.

— Что, уже всё сделали? — фальшивым голосом спросил я.

— Всё, начальник!

Мне ничего не оставалось, как подняться и идти с проверкой, тем более что злодеи зашли с боков и сперва легонько, а потом всё ощутительнее стали подгалкивать меня под рёбра.

В сквере Будулай, словно полководец, махнул рукой, и весь табор от мала до велика, словно в бой, ринулся на штабеля. В считанные минуты бороны были раскиданы вдоль села вверх зубьями.

— Проверь! — приказал Будулай. — Зубья проверяй! Гайки, поперечины! Всё проверяй. Доволен будешь. Цыган дело знает!

Уже чувствуя, что влип в какую-то историю, я лихорадочно принялся искать недоделки. Увы! Их не было... Зубья и в самом деле были на месте и не шатались. В порядке были и поперечины.

— Ну-у, и сколько же вы хотите? — спросил я.

— Согласно расценкам, — пожал Будулай плечами. — Семьсот борон, семьдесят тысяч зубьев, столько же гаек, поперечины, покраска... три тысячи сто двадцать три рубля семнадцать копеек.

— Сколько? Сколько? — переспросил я, похолодев.

— Три тысячи! — махнул рукой Будулай. — Остальное пусть идёт в пользу колхоза... Что мы, не советские люди, что ли...

— Позвольте, выходит, что вы все зубья правили?

— Все, — охотно подтвердил Будулай.

Тут, наконец, я сообразил, в какую ловушку попал, и попробовал выкрутиться.

— А как докажете?

— А ты, умная голова, как докажешь? Бороны-то исправны.

Те же молодцы привели меня в контору. Кабинет мой на глазах превратился в какой-то толкучий рынок.

— Деньги, деньги давай! — понеслось отовсюду. — Бумагу подписал, а теперь в кусты!

— Не выйдет, начальник! Закон на нашей стороне...

Тут, подступив ко мне, заорали, завизжали цыганки, размахивая перед моим носом руками. Потом заверещали цыганята, которых матери специально щипали и рвали за уши.

— Деньги давай! Давай деньги! Кушать хотим! — кричали они.

Даже махонькие детишки, которые, наверное, и ходить-то ещё не умели, ползали у меня под ногами и, цепляясь за штаны, пищали:

— Дядя, вай, вай, теньги! Дядя, вай, вай, теньги!

Сами цыгане стояли молча и нельзя сказать, что угрожали мне железными вилами и кнутами, но держали их так, что всё можно было подумать...

Главбух, конечно, платить наотрез отказался. Цыгане на моих глазах оплевали, обругали его и, что-то полопотав по-своему, стали стаскивать в контору узлы, матрасы, чугуны и даже конскую упряжь.

Я, взявшись за голову, ошалело бродил по опустевшему кабинету, из которого загадочным образом исчезли все карандаши, ручки, бумага и даже портреты членов Политбюро. Под окнами в сквере свободно ходили кони, объедая с клумб поздние цветы. Двое цыганят бросали камнями в "Доску почёта", целясь в передовиков. Я несколько раз до крови ущипнул себя за руку. Нет, это был не сон, и чуда не произошло. Мало того, в форточке появился дупоглазый цыганёнок и стал поливать меня водой из велосипедного насоса...

...Осада длилась три дня. На четвёртый, когда в моём кабинете цыганки устроили что-то вроде детского сада, мне пришлось сдаться. Я взял отложенные на мотоцикл деньги и отдал их Будулаю. Недостающую сумму мне собрали сердобольные доярки...

Цыгане уехали в тот же день, но на этом дело не кончилось. Через неделю меня вызвали в прокуратуру и предъявили иск о хищении новых борон из соседних колхозов. Правда, учитывая моё чистосердечное признание и то, что к тому времени я вернул все бороны их владельцам, меня судить не стали, а ограничились лишь мелким штрафом, приобщив топорик к делу как вещественное доказательство.

РАЦУХА

Из-за меня, дурака, считай, мы Пашки-то Белоглазова и лишились. А какой слесарь был! Не только в нашем колхозе — в районе таких слесарей не было. Да что там район — во всей области если десяток таких наберётся, так и дай Бог. Ничего у него от рук, бывало, не отобьётся: ни доильные аппараты, ни тракторные двигатели, ни котлы паровые, ни, тем более, наши фермерские железки. Что угодно починит. Да мало того — ещё и гарантию даст!

А всё началось с того, что попросил я его однажды центрифугу покрутить, когда делал контрольную дойку и определял количество жира в моло-

ке. Должен сказать, что процедура это долгая, нудная, да к тому же и не безопасная, потому что дело имеешь с концентрированной серной кислотой. Сначала в жиромер заливаешь эту самую кислоту, потом — пробу молока, потом — изоамиловый спирт, потом закупориваешь жиромер пробкой, потом греешь его в водяной бане, потом закладываешь в центрифугу и крутишь её минут десять. Опять греешь его в теплой воде, и уж только после этого в нём над тёмной жидкостью появляется жёлтый столбик молочного жира. Вот и канителишься...

Пашка смотрел на меня, смотрел, а потом и спрашивает:

— Это сколько же крутить-то?

— Считай, — говорю. — В центрифугу входит двадцать четыре жиромера, а коров у меня тысяча.

— Чокнуться можно! — изумился он. — Неужели попроще ничего сообразить нельзя?

— Сообрази, если можешь...

И что вы думаете? Забрал у меня он все справочники, взял отпуск, закрылся у себя в сарае и через месяц приходит на ферму с чемоданчиком. Открывает его, сует провод в розетку, достаёт пробирку и говорит мне:

— Наливай молоко!

Ну, я налил, конечно, усмехаюсь, потому что знаю: ничего у Пашки не выйдет. Сотни, а может, и тысячи специалистов-животноводов думали над тем, как упростить жиропределение молока, и ничего ни у кого толком не получилось.

А Пашка, между тем, сунул пробирку с молоком в свой чемодан, нажал кнопку, и стрелка на шкале от старого мотоциклетного спидометра остановилась на тридцать седьмом делении.

— Пожалуйста, — ухмыльнулся он. — Три и семьдесят две сотых процента. Можешь проверить на своей шарманке.

Я, разумеется, проверил. Жирность молока точно совпала с Пашкиной.

— Наверное, не веришь? — спросил он у меня.

— Конечно, не верю. Вот если у тебя сто проб сойдётся, тогда ещё куда ни шло. А так — кто же тебе поверит: считай, у половины моих коров жирность три и семь десятых...

— А по мне — так хоть у всех проверяй. У меня — как в аптеке!

— Ну, давай, давай...

Я начал проверять пробы за Пашкиным прибором и не поверите: всё у меня сходилась тютелька в тютельку. Не успею я ещё и кислоту в жиромеры налить, а Пашка уже кричит:

— Первая проба — три семьдесят шесть, вторая — четыре и одна сотая, третья — три и двадцать четыре сотые... Бракуй к чертям свою корову, совсем одной водой доится... В четвёртой пробе — три и девяносто пять сотых...

Я вовсе выбился из сил и на двести сороковой пробе махнул рукой.

— Сдаёшься? — подступил ко мне Пашка.

— Сдаюсь... — озадаченно ответил я.

— То-то и оно. Если хочешь, я и сливки могу проверить.

— Сливки?

— Раз плюнуть.

Я черпанул в пробирку из фляги отстоявшихся за ночь сливок.

— Двенадцать с половиной процентов, — через секунду сообщил Пашка и снисходительно похлопал меня по плечу.

— Может, ты и сметану, можешь замерить? — осведомился я.

— Сметану не могу, шкалы не хватит. На ней гляди, всего сто сорок делений. А для сметаны надо, наверно, двести или того больше. Но если тебе надо для сметаны, то могу и это устроить. Только спидометр тогда не от мотоцикла, а от самолёта надо...

— Ну и ну, — почесал я в затылке. — Как ты додумался-то?

Пашка пожал плечами.

— Чего думать-то... Вот фотоэлемент, вот лампочка, вот твоя пробирка с молоком между ними.

— Ну, и что?
— А то. Жир-то в молоке в шариках или нет?
— Ну, в шариках.
— А раз в шариках, то чем их больше, тем света меньше падает на фотоэлемент, и наоборот. Врубился?
— Врубился, — ответил я, невольно переходя на Пашкину терминологию.
— Фотоэлемент соединён со спидометром. Всё проще пареной репы...
— Да если это все так, тебя же деньгами завалят. Ты, понимаешь, что сделал-то?

Пашка опять пожал плечами.

— Я на деньги не жадный.

— А слава?

— Мне и на славу наплевать. Главное — вам мороки не будет. А то каждый месяц крутите... Озвереть можно.

Пашка запаковал чемоданчик и широким жестом положил его мне на стол.

— Пользуйся моей добротой!

— Да ты что, дурак? Вези его в областное управление сельского хозяйства. Тебе там за такое изобретение на “Москвича” или даже на “Жигули” дадут...

— Что у них там, валяются деньги-то?

— Да не в этом дело. Ведь с этим прибором тысячи людей на фермах освободить можно. Ты посчитай: в каждой области триста-пятьсот колхозов и совхозов. Стало быть, столько же и людей занято жиропределением. А по Союзу? А ещё молокозаводы! А кислоты сколько съэкономится, спирту изоамилового, центрифуг, электроэнергии... Да ты, дурак, всё молочное дело перевернёшь со своим прибором, тебя десятки людей благодарить будут, на руках носить...

— Так уж и десятки...

— Конечно, даже сотни тысяч! Ведь все, как мы, маются с этим жиропределением. А тут человека на район поставь и пожалуйста: один справится.

Пашка недоверчиво покосился сначала на меня, потом на прибор и поглубже натянул на голову свой замасленный картуз.

— Давай, давай, не раздумывай. Завтра же забирай свой прибор и в отдел животноводства. А я тебе бумагу напишу, что прибор опробован в производственных условиях и дал отличные результаты...

Уговорил я, в общем, Пашку.

Уехал он и как в воду канул: неделю нет, две, три... Потом прибегают ко мне его мать, Нюра Васиха, и давай ругаться.

— Ты, — кричит, — грамотный, а чему Пашку-то, сына мово, научил! В кутузку парня законопатил ни за что, ни про что...

— Как в кутузку?

Нюра пошарила в юбках, вытащила письмо и помахала им перед своим носом.

— Гляди вот, любуйся! Я тебя за хорошего человека почитала, а теперь тьфу! И не подходи больше, когда доярки твои заболеют. В жизнь подменять не пойду...

В письме Пашка сообщал, что осуждён на пятнадцать суток за хулиганство. Оказалось, что своим аппаратом он разбил кому-то голову.

Это было настолько невероятно, что я решил на другой же день поехать и всё разузнать на месте, а может, и помочь чем бедному Пашке.

Искать заведение, где отбывал он свой срок, долго не пришлось. Оно оказалось рядом с автовокзалом. Да и упрасивать о свидании тоже никого, к счастью, не потребовалось. Пашка, весело насвистывая какую-то городскую, незнакомую мне песню, чинил в заведении электропроводку.

— Павел, расскажи, чего вышло-то? — спросил я, протягивая ему пачку сигарет.

Он закурил и пожал плечами.

— Тут и рассказывать нечего. Которому ты бумагу-то написал в областное управление, его на месте не оказалось: в командировку куда-то отправили...

— Ну?

— Я уж было обратно собрался, а тут и подвернулся этот брюхан-то рыжий.

— Какой брюхан?

— Ну, Деревянко-Перекобыльский-то, что у них там этой рационализацией заведует. Спрашивает, чего, мол, у тебя, не рацуха? Рацуха, говорю, вот: прибор сделал, жир в молоке определять. Он на меня посмотрел, как на дурака, и закатился хохотать. Лучше бы ты, говорит, сюда вечный двигатель привёз или ещё чего поуднее. За границей все учёные над этим делом уж сто лет бьются, и ни хрена у них не получается... Тут я, ни слова не говоря, р-раз ему твою бумажку-то в зубы. У него сразу весь смех прошёл. Залезил передо мной, забегал, прямо так и стелется. Затащил в свой кабинет, в кресло усадил, чаем поить начал. Потом давай мне всякие глупые вопросы задавать, мол, что такое молочный жир?

— Чё вы, масла коровьего не видали, что ли? — спрашиваю. — Молочный жир — масло коровье и есть, по три двадцать...

— А что ещё тебе по составу молока известно? Что ещё в нём есть?

— Это любому дураку известно: обрат да сыворотка.

— Эх ты, говорит, темнота, в молоке-то больше сотни всяких соединений: и белки, и кислоты, и витамины, и микроэлементы, и аминокислоты. Даже золото есть, сколько-то там миллионных долей.

— Ну, и что?

— А то! Ты же в случае чего не сумеешь все это объяснить-то комиссии.

— Мне, говорю, и объяснять нечего. Раз вы знаете, вы и объясняйте.

Гляжу, обрадовался он. Приборчик мой к себе под стол пихнул, а в бумагу-то рядом с моей свою фамилию записал. Потом сбегал куда-то, по плечу меня похлопал и шепчет на ухо:

— Надо ещё, слышь, Петра Петровича в бумагу-то включить, он эффект какой-то считать будет...

— Мне что, говорю, включай.

— Семёна Феоктистовича обходить неудобно...

— Пиши и его.

Записал, в общем, он и Петра, и Семёна, и ещё сколько-то человек. Дал мне бумажку в гостиницу.

— Жди, говорит, мы теперь это дело быстро обтяпаем.

Я заселился, жду. День жду, два, три... Потом деньги у меня кончились. Прихожу в контору-то, так мол и так. Тут один чернявенький похлопал меня по плечу и говорит:

— Не мучайся, парень, езжай домой. Потому что они на приборчик твой уж и патент получили, и денежки...

— Как получили?

— А так вот, молча, по тысяче рублей...

Ну, я к этому Деревянко-Перекобыльскому. Захожу. Он заюлил, завертелся, заизвинялся. Конечно, говорит, маленько неудобно получилось, потому что ты в списке оказался одиннадцатый. Начальство и вычеркнуло тебя, чтобы, значит, у всех сумма-то недроблёная получилась. С ним ведь, слышь, не поспоришь, с начальством-то...

— А ты, спрашиваю, получил?

— Получил.

— Ну, так дай мне хоть на дорогу сколько-нибудь.

Он руками развёл. Всей бы, говорит, душой, да нет с собой ни копейки. У нас деньги-то в руки не дают, а на книжку сразу переводят. Порядок такой...

— Да за такие штуки! — взвился я. — Ему прямо по морде надавать надо было!

Пашка тяжело вздохнул.

— Так оно и получилось... Как стал я прибор-то забирать, этот Деревянко-Перекобыльский вцепился в него, заверещал, будто кастрировать его собираюсь, да ещё и лягаться начал. Тут я и не выдержал...

— Так, может, сходить мне к начальнику милиции-то, я ходатайство от колхоза вот привёз насчёт тебя.

— А зачем? — пожал Пашка плечами.

— Ну, чтобы тебе сбавили срок-то.

— А чего его сбавлять-то. Он у меня неделю назад кончился.

— Погоди, а домой-то чего не едешь? — изумился я.

— Как чего? Работаю я здесь. Начальник-то милиции как узнал, кто я такой есть, так мало того, что срок мне скостил, а и к себе на работу оформил. Я теперь в два раза больше получаю, чем в колхозе-то, да и работа у них не бей лежачего. Не то что у вас: всю жизнь по колено в грязи да в навозной жиже...

КЛАССОВЫЙ ПОДХОД

Где-то вскоре после этого дело было. Подходит ко мне сторож Еврасим и говорит:

— Дал бы ты мне, мил-сын, почитать что-нибудь от скуки. Только чтоб без политики. За эту политику-то у меня при Сталине и деда, и прадеда, и батьку — всех расстреляли, а я на Урале десять лет лес валил.

— Да у меня ничего, кроме Гоголя, нет.

— Это востроносенький-то? — оживился дед. — Который “Тараса Бульбу” написал?

— Да.

— Ну, давай его. Ладно, он вроде бы мужик ничего, безвредный.

Ушёл дед Еврасим, а под вечер гляжу — обратно бежит. Положил книжку на стол и скорей к двери.

— Чего, дед, не понравилась? — спрашиваю.

— Нет, не поглянулась, паря, — ответил дед, боязливо оглядываясь по сторонам.

— А почему?

— Сумнительная она и вредная, ежели к ней классовый подход сделать.

— Да почему? — изумился я.

— А вот возьми хоть и этого Собачкина.

— Собакевича, наверно?

— Ну, да, косолапого-то. С одной стороны, он ведь помещик?

— Помещик.

— Сплататор, стало быть?

— Выходит так, эксплуататор.

— А с другой стороны, если к нему классовый подход сделать, то что получается?

— А что? — заинтересовался я, потому что с этой стороны ни к Собакевичу, ни к самому Гоголю, кажется, ещё никто не заходил.

— А ты погляди, ведь он губернаторских-то сплататоров чисто по-нашему, можно сказать, по-партийному, поливает...

— Ну, и что, раз характер у него такой?

— С таким карахтелем его в книжку не надо было...

— Да почему же, Еврасим Фатеевич?

— Двuruшный человек. Ему бы надо одно что-нибудь: за помещиков, дак за помещиков, а ежели за трудовое крестьянство, дак за трудовое крестьянство — по классовой-то борьбе.

— Подожди, дед, — опомнился я, — ведь тогда ещё никакой классовой теории не было, при Гоголе-то?

— Мало ли что не было. Всё равно лучше бы его в книжку не вставлял. Хоть и лаёт он этих сплататоров, а всё равно человек ненадёжный, двуличный. И на руководящую работу его выдвигать, я думаю, тоже нельзя.

— Подожди, да кто его выдвигает-то?

— Это я так, к примеру. Конешное дело, кто его выдвинет, беспартийного-то. А с другой стороны, если бы и выдвинули, скажем, председателем нашего колхоза, то не поднял бы он его. Потому что человек не только двурушный, а и под себя гребёт, как теперешние председатели.

— Но ведь он и крестьянам жить давал. В книжке-то ясно написано, что крестьяне у него справно жили.

— Э-э, парень, — махнул дед рукой, — по теперешним временам этого Собачкина быстро скинули бы. Теперя начальству привыкли угождать-то, а не крестьянину. А при Сталине его, небось, и посадили бы за разбазаривание али расстреляли бы, как батька моего, дай Бог ему царства небесного...

Разговор принимал какой-то совсем чудной, можно сказать, анекдотический характер.

— И этот, буйная головушка, картёжник-то, тоже не поднял бы колхоза, — продолжал дед Еврасим.

— Ноздрёв, что ли?

— Ну! Пропил бы всё за милу душу, как Яшка Селезень. Тот, помню, после войны-то последние вожжи пропил. Бывало, меринком-то тычиной и правишь. Надо вправо повернуть, дак тычину-то слева заносишь, а влево — дак наоборот...

— Ну, а вот Плюшкин поднял бы колхоз? — с нарастающим любопытством спросил я.

— Этот поднял бы, — уверенно отвечал дед Еврасим. — Уж этот доглядел бы за каждым...

— А не погноил бы продукцию-то?

— Нет-нет, — отрицательно замотал головой дед. — Начальство не дало бы. Со всего району технику нагнали бы, а вывезли и жито, и снопы, и кожи. И этот, Чичиков, тоже поднял бы. Только он, я думаю, не согласился бы в председатели. Ему по уму-то да по обходительности — в районе сидеть али даже в области...

— Так ведь жулик он?

— А кто теперь не жулик? Главное — чтобы дело шло...

— Так что ты всё же вредного-то в ней нашёл? — спросил я, потому что в своём классовом подходе дед явно противоречил сам себе.

— В книге-то?

— Ну.

— Как это что? Али не понимаешь? — подозрительно покосился на меня дед и опять стал оглядываться по сторонам.

— Нет, не понимаю.

— Насмехаешься, небось, над стариком?

— Ей-богу, не понимаю, Еврасим Фатеевич!

— Дай-ка её сюды, книжку-то... Вот, погли-ко, что твой Собачкин на этом листке-то в ней выкусывает. Ведь ни в какие ворота не пропихнёшь! Губернатор, слышь, первый разбойник в мире. Дайте ему ножик, да выпустите на большую дорогу, дак за копейку зарежет. Он, да ещё этот, с вицей-то губернатор.

— Вице-губернатор, — поправил я.

— Вот я и говорю: губернатор, да второй губернатор, который с вицей-то, — это, слышь, Гога и Магога, и весь город у них такой: мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все, слышь, хриstopродавцы...

— Ну, и что из этого? Тогда время такое было, все чиновники воровали.

— Эх, вы, молодёжь, — покачал головой дед Еврасим. — Подумай-ко: губерния-то что по-настоящему?

Я пожал плечами.

— Область, наверное.

— То-то и оно, что область. А губернатор-то, да этот другой-то, с вицей-то, да председатель казённой-то палаты, на теперешние-то деньги, кто? Вот то-то... Нет уж, мил сын, раз ты ничего не понимаешь, дак послушай меня, старика, спрячь эту книжку подальше и никому не показывай али же вовсе выбрось. За такие книжки, в случае чего, дак по головке-то не поглядят...

Вот после этого и пошёл по селу слух, будто я что-то замышляю против обкома партии и даже Центрального Комитета. Приехали *бойцы невидимого фронта*. Оружия у меня, конечно, не нашли, но барабан с вазелином и бутыл с карболкой забрали. Якобы из них, если смешать с аммиачной селитрой, то запросто можно взрывчатку сделать. Со мной после этого уж и здороваться в колхозе все перестали. А тут ещё Нюра Васиха распустила слух, будто я самый главный чернокнижник Союза ССР. И метнулся я на Урал...